

ГРАНИ

1-3

1946 – 1947



Год издания I-й.

Выходит 4 раза в год

ГРАНИ

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА
И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Под редакцией

Е. РОМАНОВА, Б. СЕРАФИМОВА И С. МАКСИМОВА

№ 1
ИЮЛЬ
1946

„ПОСЕВ“

СОДЕРЖАНИЕ:

Е. РОМАНОВ — Предисловие Стр. 3

ЛИТЕРАТУРА

В. КАРАЛИН — Освобождение (рассказ) „ 5

А. УГРЮМОВ — Расцветают яблони
(стихи) „ 10

А. НЕЙМИРОК — Весна (стихи) „ 11

С. ПАВЛОВ — Чужой берег (из австра-
лийского дневника) „ 13

С. МАКСИМОВ — Танюша (поэма) . . . „ 17

Б. БАШИЛОВ — Агентство „Молние-
носный ответ“ (отрывок из романа) „ 21

М. О. КУБЕ — В гостях у „дикарей“
(из записной книжки гардемарина) . „ 31

Ф. БОРИСОВ — Из цикла „Ветер
Скифии“ (стихи) „ 32

КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА

Н. ВИТОВ — Гуманизм Федора Досто-
евского „ 33

Ж. П. САРТР — Новая французская
литература „ 39

ИСКУССТВО

проф. Д. С. — Суриков, как художник-
историк „ 41

Р. ВОРОБЬЕВ — По поводу статьи
проф. Д. С. „Суриков, как художник-
историк“ „ 44

БИБЛИОГРАФИЯ

Б. СЕРАФИМОВ — Новая пресса . . . „ 44

С. М. — „Морские рассказы“ М. О. Кубе „ 45

ИЗ МИРА ЛИТЕРАТУРЫ,
ИСКУССТВА И НАУКИ . . . „ 46

Заголовки, заставки и цветные гравюры
на линолеуме — работы художника Н. Никита

ВМЕСТО ПРОГРАММНОЙ СТАТЬИ

Обычно принято открывать новый журнал программной статьей, — своего рода векселем, который выдает редакция читателям. Мы отступаем от этого правила. Отступаем не потому, что у нас нет программы, не потому, что нам не ясны цели, к которым мы стремимся, не потому, что боимся выдать вексель без достаточного обеспечения. Нет, мы твердо знаем, чего мы хотим, куда надо идти. У нас есть неисчерпаемый золотой запас полновесной звонкой монеты. Но мы, к сожалению, еще не знаем, когда сможем оплатить выдаваемый вексель, когда на открытом литературном рынке получит право хождения Слово Правды. Мы верим, что это будет, и будет скоро, но от выдачи векселя воздерживаемся, дабы не быть обвиненными в банкротстве. Однако, это не значит, что мы наглухо закроем сундуки с нашим золотым запасом. Наоборот, мы будем всегда держать их открытыми, наготове, чтобы при каждом удобном случае бросить пригоршню монет на литературный прилавок. И знаем, что их звон будет услышан всеми теми, о ком сказано: «имеющий уши да слышит». Такое положение, в настоящей обстановке, даст нам полное творческое удовлетворение.

На этом, собственно говоря, можно было бы и закончить наше обращение к читателям, но последнее время нам часто приходилось слышать один и тот же вопрос: почему вы выбрали для журнала такое название? Мы не беремся ответить на него прямо, но хотели бы поделиться с читателями, по этому поводу, некоторыми мыслями.

* * *

«Есть грань в душе . . .»

Забывтая книга забытого автора.

Когда то наши прабабушки с волнением перелистывали ее страницы, вместе с героиней страдали, ужасались коварству злодея и обожали молодого белокурого красавца-героя. И, погасив свечи, долго еще не смыкали глаз, находясь во власти грез, навеянных романом.

Многое изменилось с тех пор, к худшему, к лучшему — сказать трудно. И герои этих старинных романов кажутся нам сегодня картонными, страсти их — бесцветными, страдания — безбольными, слезы — пресными, ужасы — нестрашными. Как на картине ремесленника, — на ней останавливался взгляд тогда, когда краски еще были свежи, а теперь, когда краски поблекли — безразлично скользит мимо.

Такова судьба каждого литературного произведения, если его автор только скользил по поверхности современной ему жизни, не пытаясь проникнуть в ее глубины; угрожал вкусам «владык» и «черни», отказываясь от художественной правды; служил земным кумирам, ложным и преходящим, а не Вечному; если он был ремесленником, а не творцом.

Но настоящий талант, втиснутый в эти убогие рамки, неизбежно вырвется из них и тогда яркие краски вдруг заиграют на его палитре и он запечатлеет незабываемые образы; но миг проходит, ремесленник побеждает художника, услужливость — служение, и навсегда запечатленная яркость теряется в сплошной серости остальных страниц.

Такие книги трудно читать. Современные — досадно, а старые — скучно. И когда приходится делать это по необходимости, то как радостно находить страницы, на которых запечатлен этот момент творческой свободы таланта.

.

„В кабинете был полумрак. Тяжелые бархатные портьеры, низко склонившиеся к окнам густые ветви, казалось, надежно защищали комнату от яркого света заходящего солнца. Но какой-то упрямый луч пробился сквозь листву, проник в шелку портьеры и потонул в старинной хрустальной вазе, стоявшей на столе с букетом темно-красных, почти черных, роз. И мгновенно зажглись радужными огнями ее грани, расцвелились непередаваемыми красками. И яркость этих граней оттеняли другие, тусклые, не облаканные лучом, казалось, потемневшие от этого, грани.

Гюнтер открыл глаза. Откинувшись на спинку кресла, он находился в состоянии той дремоты, когда кажется, что начинаешь почти физически ощущать медленно надвигающуюся темноту. Из этого состояния его вывело внезапно появившееся желание узнать, что произошло в комнате. Он прислушался, но услышал тишину. Закрыв глаза, но не мог забыться. Встал и, мягко ступая по ковру, прошелся по комнате. Только в этот момент он увидел солнечный луч и яркое пятно на столе. Увидел внутренне; понял, что появление этой струи солнечного света и было тем внешним толчком, который вывел его из состояния забытья...

Гюнтер подошел к столу, сел на ручку кресла и внимательно стал следить за игрой света на гранях вазы. Он все еще находился под впечатлением вчерашнего разговора с Михаилом. Ему до сих пор было непонятно, откуда вдруг появилась у Михаила та мужественная твердость, с которой он вчера настоял на своем решении и то удивительное спокойное достоинство, с которым он выслушал его, Гюнтера, признание.

Прошло уже 28 лет с того дня, когда два маленьких мальчика первый раз пришли в школу и судьба, в виде старого подслеповатого учителя, посадила их на одну парту. И в течение многих лет они никогда не теряли друг друга, сходясь все ближе и ближе.

Гюнтер был уверен, что он знает все светлые и темные стороны души Михаила и поэтому, когда вчера ехал к нему в город для объяснения, которого оба так долго избегали, был готов к совсем другой реакции. Происшедшее потрясло его. Казалось, что сквозь пеструю привычную оболочку, пробились два новые, яркие, красивые пятна. Вот, как на этой хрустальной вазе засверкали от упавшего на них солнечного луча, до сих пор тусклые грани.

Гюнтер улыбнулся, улыбнулся мягко, растерянно... Грани души... Ему открылись новые грани души Михаила, грани светлые и радужные, а он ожидал, что проявятся, полно проявятся те темные грани, которые он в Михаиле видел в течение долгих лет.

Но солнечный луч? Что же было солнечным лучом для души Михаила?

Гюнтер посмотрел на солнечный луч, пробившийся в кабинет и горевший на гранях хрусталя, и ему показалось, что он увидел в золоте луча — золото волос Паолы.

Забятая книга забытого автора.

Многогранна душа человеческая, но редко раскрывается она во всей своей многогран-

ности. Материальное бытие человека делается осмысленным, благодаря проявлениям его души, проявлениям тех или иных граней ее. А грани бывают светлые и темные. И последние проявляются чаще. И тень их падает на дела человека, и дела его становятся темными, черными.

Кажется иногда — вот человек, в котором нет ничего хорошего. Но какое-нибудь событие, чьенибудь влияние — и блеснет светлая, прекрасная, до сих пор скрытая, грань души его. И человек сотворит дело достойное Человека. И радостно всем тем, кто видел в нем только темное. Радостно потому, что это укрепляет веру в людей, веру в то, что все мы можем стать лучше.

Легко и радостно жить тому, кто ищет в других хорошее; ищет и находит. Исканием своим помогает он тем, в ком ищет, раскрыть и проявить светлые грани души. Но для этого он прежде всего в самом себе должен раскрыть их, должен стремиться к совершенствованию.

Каждый человек — часть органического целого; человечества. Совершенствуется часть — совершенствуется целое. Тот, кто становится на путь Правды, помогает всему человечеству стать на тот же путь. А необходимость этого, может быть, никогда так не была велика, никогда так не ощущалась всеми, как в наши дни.

В свете этого большая и ответственная задача стоит перед теми, кто служит Слову — Слову Правды.

В творчестве своем должны они отразить вечное стремление людей ко всему светлomu, к человеческой Правде, к Правде Божьей. Найти в героях своих все, что в них есть хорошего; показать взаимное влияние их и окружающих, пути, на которых проявляются светлые грани человеческих душ. Воплотить все это в художественных образах, правдивых и жизненных. Сказать все это простым, и в простоте своей, красивым языком, понятным каждому. Уйти от вычурности, ложного пафоса, схематизма.

И прежде всего, в самом себе найти светлые грани души; сначала, в себе, как человеку, потом в себе, как в художнике.

Тогда подлинным гуманизмом будет проникнутое творчество художника и оправдано в служении Человеку, Правде человеческой, Правде Божьей.

А в этом оправдании, и только в нем, весь смысл творческой жизни художника.

Е. Романов



... Никто не заметил, когда Перегрин ушел. Знавшие его, были удивлены и, кажется, оскорблены тем, что Перегрин не попрощался с ними.

Прошел день, другой, третий... Кто-то из соседей обнаружил, что комната Перегрина не заперта, как будто хозяин где-то здесь, поблизости, и сейчас вернется. Но Перегрин не возвращался. Осмотр комнаты не принес решения загадки. На столе лежали раскрытая «Лирика» и старые, из какого-то другого мира, часы. Казалось, здесь остановилась жизнь...

Об ушедшем вспоминали все реже, а потом, в суете будничных дел, в заботах о том, как накормить себя, сохранить жалкие лоскутки прав и удовлетворить мелкое тщеславие, о нем и совсем забыли.

Маленькие радости и печали жизни, кажущиеся нам необъятно великими, помогают легко переносить утрату некогда близких людей.

Если столкнуть с горной высоты камень, он сорвет в своем полете другой, третий, они увлекут за собой десятки, потом сотни, — и уже целая лавина камней с нарастающей скоростью обрушивается в пропасть, и дрожат от страшного гула окутанные облаками пыли горы, и долго перекатами бродит по горам эхо. Страшны обвалы в горах, но когда гул и грохот сотрясают каменные твердыни, — поздно жалеть о первом сброшенном камне.

Так одна мысль и одно воспоминание вызывают в жизни десятки, сотни других мыслей и воспоминаний, действительность причудливо переплетается в этом обвале мыслей и воспоминаний с призраками, и эхо порой кажется грознее разбудившего его звука...

Поздней ночью Перегрин лежал с открытыми глазами на кровати в душной черной комнате. Он столкнул первый камень, и теперь чувствовал себя застигнутым горным обвалом. В его мозгу проносились десятки, сотни, целая лавина мыслей, ощущений и воспоминаний. Беспреданно ворочаясь и изнывая от духоты и бессоницы, Перегрин

спрашивал в тоске: «Что же это, Господи?» — но ответа не находил. Он ощутил страшную тяжесть того, что накапливалось годами жизни и что он собирал и хранил в себе, как самое дорогое и священное. Сейчас Перегрин почувствовал, что этот груз, как проклятие, мешает ему жить, дышать, двигаться.

В такие ночи человек приобретает способность видеть всю свою жизнь. Он становится судьей своего прошлого, и безжалостно судит все — свои ошибки, мечты и увлечения юности, идеалы и стремления, и принятые на веру поучения многодумных и многоопытных учителей жизни, и все то, чему сам научился и во что поверил как в спасение.

Перегрин видел себя молчаливым мальчиком-дичком, переживавшим утопление выводка слепых щенят в темном заросшем пруду, как первое и настоящее личное горе, потом — подростком и юношей, подсмотревшим жестокую правду жизни, но в опьянении силы и молодости готовым обнять весь мир, еще незрелым, наивным, но чистым и чутким... Он не заметил, когда кончилась юность. Вероятно, тогда, когда жизнь начала наносить свои первые чувствительные удары, замутив чистое озеро души сомнениями, и поколебала веру в людей, в целительные качества их жизненных рецептов.

Остальное он помнил слишком хорошо. Лучшие годы жизни он отдал мечте о родине, о жизни, шумящей, как дерево в весеннем цветении. Пока другие устраивали свое утлое счастье, он верил, горел, отдавал свою душу и сердце, и однажды, после страшной катастрофы, вдруг увидел — пустоту вокруг, одиночество, потерю единственных близких людей.

Но, чтобы пережить страшный обвал, подобный тем, какие бывают в горах, нужно было столкнуть с кручи один камень. Перегрин этот камень столкнул.

Перегрин отлично знал, что душевный кризис был неизбежен, и наступил он именно сегодня потому, что накануне Перегрин был в гостях и участвовал в ненужном и нелепом споре. Однако, ему, по свойственной всем людям странной потребности, нужно было обмануть себя тем, что не будь он накану-

не там-то и не сделай он того-то, все было бы совсем иначе.

Вечер, о котором думал Перегрин, ничем не отличался от сотен других подобных вечеров, пережитых Перегрином и не оставивших в его душе никакого следа, — и там, и здесь гости и хозяйева вели скучнейшие разговоры о том, о сем, перемешивая их с пересказом анекдотов и сплетен, чтением бездыханных стихов и длинными утомительными спорами. Но только теперь Перегрин по-настоящему рассмотрел людей и услышал их слова, — и с чувством досады увидел, что все это — ненужное, ненастоящее, утомительное, как зубная боль.

Несколько знакомых, примелькавшихся лиц, наполняли комнату, с ковриками, портретами и выцветшими олеографиями на стенах. Перегрин уже знал и людей, и эту комнату, знал и то, что не взаимная симпатия, дружба или потребность духовного общения, а самая прозаическая скука сводит всех этих людей вместе, и каждый приходит в надежде, что другие помогут ему развлечься.

Перегрина познакомили с одним новым для него лицом, — молодым, лет за тридцать, светским человеком. Когда Перегрин подвели к нему, молодой человек громко рассказывал старые студенческие анекдоты. Перегрин сейчас же забыл его имя и молча сел в углу комнаты наблюдать и слушать.

— Однажды, — рассказывал новый знакомый Перегрин, — студенты писали сочинение на тему — «Моцарт и Сальери» Пушкина. Один из студентов написал... знаете, что он написал? — и, не дожидаясь ответа, он громко захохотал над тем, что написал студент и чего он еще не рассказал.

«Такие молодые люди, — думал Перегрин, нервно щипля несуществующую бородку, — сами не подозревают важности своей жизненной задачи. Они рождаются и живут, чтобы быть женихами на всех свадьбах и покойниками на всех похоронах. Что было бы с обществом, если бы вдруг перевелись такие люди?» — спросил Перегрин, и почувствовал, как в нем поднимается неприязненное чувство против молодого человека, против его манеры говорить — неестественно громко, с кокетливым пришепетыванием, и против пошлых, неумных и не веселых его анекдотов, и против выражения довольства на его гладком, чисто выбритом лице.

— Ска-ажите! — тоненько, как будто свистела в свисток, смеялась одна дама. — Неужели Моцарт так и сказал: что-то, брат, у меня живот болит?..

— Господа... господа, — громко говорил рассказчик, не глядя на даму и обращаясь со снисходительной улыбкой ко всем присутствующим. — Я не отвечаю за слова студента. Теперь разрешите, я расскажу вам случай на лекции по зоологии...

Не дожидаясь разрешения, он стал рассказывать новый анекдот. При этом на его довольном, беспрестанно улыбающемся лице было написано: «Господа, истину знаю я!»

Перегрин молча слушал и смотрел. Он уже знал, что молодой человек никого и ничего не любит. В обществе людей, близких ему по воспитанию и положению, он играет привычную роль остряка и забавника, вне этого общества он становится черствым и циничным хамом. И там, и здесь, меняя свой внешний облик, он остается эгоистом, существом без души и сердца. Перегрин почувствовал желание сказать ему что-нибудь оскорбительное, заставить неприятного ему молодого человека сбросить маску светскости и выявить свое подлинное существо, о котором Перегрин догадывался. Он уже приготовил какую-то фразу и ожидал подходящего случая сказать ее вслух, громко, чтобы все слышали, но тут неожиданно вспыхнул спор об искусстве и правде жизни, дамы, оживленно и перебивая друг друга, стали говорить о святой лжи, об умирании красоты, о грубости современной молодежи, — и Перегрин забыл свою приготовленную оскорбительную фразу. Он незаметно увлекся отгадыванием, что сейчас скажет, например, этот благообразный господин в пенсне, или эта томная молодящаяся дама с платочком в руках, влюбленная в стихи Игоря Северянина и во все неземное. В первый раз на лице Перегрин появилась улыбка.

— Что вы сегодня молчите, Перегрин? — вдруг спросила хозяйка, сияя оживленными глазами. — Милый Перегрин, ну скажите хоть одно слово. Оставьте ваш угол, придвигайтесь сейчас же к нам... вот сюда, — она указала место рядом с собой. По ласковонастойчивому тону ее голоса Перегрин понял, что она решила непременно втравить его в спор, и что ему, кажется, не отвертеться.

Все обратили взоры на Перегрин, и ему в смущении пришлось передвигаться со своим стулом из удобного угла на середину комнаты, где уже нельзя было молчать, наблюдать и слушать.

— Вот и хорошо. А теперь мы ждем вашего мнения.

— Я знаю, знаю, — вставила дама, влюбленная во все неземное. — Перегрин должен думать так же, как и я. Ну же, Перегрин! Мы ждем.

— Откройте нам, во что вы веруете? — тоненько улыбнулся, глядя в упор на Перегрин, его новый знакомый. — Наверное, вы расскажете что-то очень интересное.

Перегрин, вновь почувствовав, как в нем поднимается неприязненное чувство против молодого человека, смотрел на его довольное, улыбающееся лицо. Молодой человек сидел, скрестив на груди руки, откинувшись на спинку стула, и чуть покачивал ногой в ярко начищенном модном ботинке.

— Проблемы, — заговорил Перегрин, не скрывая прозвучавшего в голосе раздражения, — все это одни проблемы. А жизнь — это не наши проблемы, это что-то совсем другое. Да и существуют ли все эти волнующие нас проблемы? Не привиделись ли они нам в каком-то дурном сне?

— Так вы, значит, отрицаете существование проблем? — обрадовался молодой человек. — Вы — нигилист.

— Значит, отрицаю, — в тон ему ответил Перегрин. — Потому, что считаю гораздо более важным, чтобы человек понял, что ему действительно нужно, и что ему мешает жить.

— Это любопытно, — зачем-то потрогав пенсне, испуганно пробормотал благообразный господин и оглянулся на свою жену, как-будто ей грозила опасность.

— О чем мы хлопочем? — продолжал Перегрин. — Чего мы хотим, чего ищем? Мы и сами не знаем. Вот, если бы человек понял, что одной искорки счастья, одной искорки радости, только настоящего счастья и настоящей радости, достаточно, чтобы осветить всю нашу жизнь, будущую и настоящую, — наверное, он бы жил во сто крат лучше и чище, чем сейчас. Почему так светлы дети? Ведь вот, первородный грех им не мешает... А живут они иначе, чем живем мы. Мы учим наших детей, как жить! Мы говорим им: будьте как мы, черствыми, тщеславными, завистливыми, жадными, эгоистичными. И мы радуемся, когда дети быстро отравляются нашим учением. Не нам, а им известен секрет, как надо жить, но мы со временем что-то убиваем в них, они все больше становятся похожи на нас. И когда убийство совершилось, мы радуемся, что наше злое дело так легко удалось.

— Что же, по вашему, мы убиваем?

— Что? Вы спрашиваете — что? Жизнь, веру, душу.

— Как же нужно жить?

— Это-то и не является, говоря вашим любимым словом, проблемой. О чем тут думать? Христос очень ясно и просто ответил на ваш вопрос. Дело не в том, как жить, а в том, что нужно отрешиться от мысли, что мы можем придумать какие-то спасительные решения выдуманных нами же жизненных вопросов, изобрести элексир счастья и устроить всеобщий рай на земле. Не странно ли, что мы придумываем все новые и новые рецепты, а болезнь развивается и жизнь становится все хуже.

— А как же Толстой? — спросил, покачивая ногой, молодой человек.

— Толстой, в конце-концов, очень хорошо понял, что нельзя ничего придумать, что жить нужно просто, без проблем и фокусов. Да, жить нужно просто, — с верой, повторил Перегрин.

— Может быть, вы скажете, что это такое — жить просто?

— Этого, — очень тихо ответил Перегрин, — я не знаю. Быть может, нужно прежде всего освободиться, стать свободным. Не внешне, а внутренне свободным. Не знаю...

Этот вопрос более всех других волновал Перегрин. „Что же это такое — жить просто? — повторял он вопрос, заданный ему на вечере неприятным молодым человеком. — Освободиться, стать свободным? Но — как? Как?“

Тысячеглазая темнота немо смотрела в открытые страдающие глаза Перегрин. Под этим взглядом Перегрин постепенно, кажется, прозревал. Еще очень смутно, он начинал понимать скрытый смысл душевного кризиса, сомнений, воспоминаний, дум. Жизнь проходила, быть может, она уже прошла, а Перегрин, заполнивший свои дни призраком веры в людей, мечтой о подвиге, испивший чашу тоски и сомнения, еще ничего не совершил! «Да была ли жизнь? — строго спросил какой-то внутренний голос. — Была ли настоящая воля к жизни?»

Перегрин вскочил с кровати, зажег настольную лампу и торопливо стал рыться в ворохе бумаг и старых писем.

«Это должно быть здесь, — шептал он с надеждой, жмурясь от яркого света. — Это где-то здесь... Не могло же оно затеряться? Я хорошо помню, что положил его сюда. Вот...»

Он перечитывал письмо. Оно было старое, очень старое. Где-то жил его друг, одинокий, больной и тоскующий. И он, конечно, верил в Перегрин, верил что Перегрин найдет ответ на все мучительные вопросы жизни. Но, быть может, еще не поздно?...

Перегрин радостно и легко засмеялся. Конечно, не поздно. Теперь нужно освободиться и начать настоящую жизнь.

Мысли стали легки и ясны.

Собравшись в дорогу, Перегрин привычным движением взял со стола часы, подержал в руке и, не услышав привычного тиканья, положил на стол и вышел.

Городок притворялся спокойно спящим. В предрассветной тьме дыбились дома, враждебно провожая черными глазницами окон одиноко и торопливо идущего человека. Еще были свежи, и казались дымящимися, уродливые нагромождения камней, балок, кусков дерева и металла. Здесь прошла война.

Рассвет застал Перегрин в пути, далеко за городом.

Когда он поднимался на вершину горы, уже не было ни тоски, ни воспоминаний. Казалось, все это Перегрин оставил позади, в своей комнате.

Тишина окружала его, как будто все было залито глубокой спокойной водой. Потом началось веселое и радостное восхождение на головокружительную высоту.

Он уже знал когда-то, очень и очень давно, эти чувства, кажущиеся ему сейчас новыми. Перегрин переживал возвращение молодости,

и смотрел на мир спокойно, доверчиво и радостно, как смотрят пережившие страшную опасность. Тишина встала между страданиями, жестокостью и фальшью людей позади и одиноким человеком на вершине горы.

Внизу кипело лилово-белое море туманов. Что-то пело и плескалось о скалы. В этом плеске рождалось солнце.

Перегрин встречал восход солнца завороченный, чутко и молитвенно внимающий чудесному, совершающемуся вокруг него. Он ощутил на своей щеке влажное веющее прикосновение ветра, и в то же мгновение разорвался на клочья туман, открыв лежащую внизу долину. Среди пожелклых холмов и осыпанных легким золотом рощ и перелесков открылись красные кровли окруженных узором троп и дорог игрушечных ферм. Солнце вставало, омытое лиловым туманом. На фермах вспыхивали и горели нестерпимо ярким огнем стекла окон. По склонам стекали густые тени, бежали по холмам полосы света, плямя охватило и плавило золото рощ и лесов.

Перегрин задохнулся от восторга. Он услышал, как пели земля, высота и свет. Он узнал собственную мелодию, перелившуюся через край переполненного сердца. Никогда еще не было так легко, быть может, потому, что это был особый путь и начиналась новая, настоящая жизнь.

Спускаясь с горы, Перегрин узнавал знакомые места. По холмам и лилово-дымным перелескам, по полям, кое-где вспаханным и засеянными, межами, шумящими сухими травами, юношески легко и уверенно он шел на юг. Тонкие руки яблонь четко рисовались впереди на фоне неба, тянулись в синеву и о чем-то молились. Быть может, о весне, о тепле, о молодости?

Перегрин знал — откуда радость трудно и долгого пути. Он казался странным и подозрительным бродягой, бездомным и ищущим дома, — и он испытал в этом пути настоящее счастье, он был богат, безмерно и сказочно богат.

За год прежних странствий Перегрин привык запоминать деревья, камни, ручьи, птичьи гнезда. Они всегда были живыми и участливыми друзьями. Перегрин даже разговаривал с ними, чутко улавливая их безмолвную речь. Например, он спрашивал о смерти и бессмертии. И камень, на котором, быть может, когда-то уже отдыхал Перегрин, темный камень в пятнах зелени на изломах, отвечал так, как не отвечал бы ему никто из людей. Смерть, бессмертие... Какая это малость!

Перегрин верил ему одному слышным голосам, и знал, что нет и не может быть иной мудрости, как умение слушать и понимать эти голоса. И от того, что шуршала под ногами опавшая листва, а кругом звенели сухие травы, и солнце стояло высоко в небе, он был так счастлив и светел.

В полдень, вспугнув диких коз, Перегрин

припал сухими губами к прозрачной поверхности источника. Звонко падали капли. Напившись, он расстелил на склоне холма плащ, и лег, прищуренными глазами глядя в небо. Только сейчас он почувствовал, как утомленно гудят ноги и все тело. Но радостное ощущение полной и самозабвенной свободы не покидало его.

Приближался вечер. Перегрин думал о друге, который ожидает его, не зная, что встреча близка и что Перегрин бережет для него свою радость. Ему захотелось посмотреть, стали ли радостнее люди с тех пор, как он вышел в путь. Перегрин зашел на ближайшую ферму. Пахло теплом жилья, дымом, запахом хлеба. Перегрин коснулся рукой кольца калитки. Во дворе, гремя цепью, залаяла собака. Его встретил угрюмого вида крестьянин, с нависшими седыми бровями, в жилете и зеленой шляпе. Что-то похожее на разочарование испытывал Перегрин в те мгновения, когда оба смотрели в глаза друг друга. Но отступать было поздно.

Крестьянин провел Перегрин через двор, ввел его в полутемную низкую комнату с камином и усадил на скамью. В комнате пахло яблоками. Таким далеким и чужим казался этот запах — крепкий запах солнечной осени — и этой сумрачной комнате, и крестьянину с нависшими бровями, и огромному серому коту, недружелюбно поглядывавшему на непрошеного гостя горящими зелеными глазами. Перегрин остался один. Неслышно открывалась дверь и в комнату заглядывали поочередно действующие лица страшной сказки: бледно-желтое, болезненно искривленное лицо старой женщины, родившейся с зубной болью; полное и розовое, как спелое, но не сладкое, яблоко, — дочери или работницы; потом — две детских головки с испуганными и любопытными глазенками. Перегрин отдыхал. Здесь, в комнате, где было окутано полумраком, где жизнь казалась призрачно ирреальной, Перегрин почувствовал всю глубину внутреннего перерождения с тех пор, как ушел из города.

Вернулся крестьянин и, подсев на край скамьи, молча налил Перегрину вина. Он смотрел на гостя странно и подозрительно, в упор уставясь в него одним немигающим глазом. Перегрин все ждал вопросов, но хозяин молчал, изредка подливал гостю вина, нарочито замедленными движениями набивал трубку и потом долго и шумно ее раскуривал. Перегрин первым нарушил молчание. Отпивая глотками вино, все время чувствуя на себе чужой, тяжелый взгляд, он заговорил о своем друге, о недавней войне, о страданиях людей...

— Постой! — остановил его крестьянин и нахмурил еще больше седые брови. Тон его голоса был угрюмый и раздраженный, словно он обвинял в чем-то своего гостя. — Все говорят о войне, как будто все беды от нее.



Недавно на соседней ферме убило работника. Обычная история: строили сарай, сорвалась вниз балка и придавила человека. Разве он думал об этом за час до своей смерти? Хорошо, недолго мучился. Ну вот, видишь? Кончилась война, а люди гибнут. И будут гибнуть, потому что тесно на земле всем стало...

Перегрин хотел ему возразить, но в это время во дворе, гремя тяжелой цепью, злобно заметалась собака, и Перегрин невольно подумал о том, что еще кто-то прошел мимо, наверное, опасливо косясь на ферму. Или, быть может, собака лает на оставшуюся за порогом его, Перегрина, тень? Вдруг он вздрогнул.

— А ты куда идешь? — спросил крестьянин и повернул лицо так, что стали видны оба глаза: холодный, немигающий и, маленький, прищуренный, странно живой и острый.

Перегрин ожидал этого вопроса. Он допил вино и, вместо ответа, засмеялся чужим хриплым смехом.

— Я уже пьян, — сказал он, — крепкое вино... Разве у путника спрашивают, куда он идет? — Почувствовав в себе странную решимость, он торопливо и с усмешкой закончил: — Если можешь, пожелай мне доброго пути. Твое вино такое крепкое, что я боюсь, как бы и меня не придавило бревном.

Немигающий глаз из тумана холодно следил за гостем. Перегрин знал, что хозяин хитрит, рассказывая ему историю о гибели работника с соседней фермы.

— Кто ты? — продолжал спрашивать немигающий глаз.

— Перегрин.

— Перегрин? Что это значит?

— Иноземный.

Ответ почему-то развеселил хозяина. Но Перегрин стукнул кружкой о стол и строго сказал:

— Это не шутка... — он собирался произнести целую речь, рассказать о том, что он понял за несколько часов своей жизни, но открылась дверь и на пороге возникли женщина, родившаяся с зубной болью, розовощекая девушка и дети. Он сказал коротко, короче, чем думал: — Вот вам вся несложная наука жизни: осторожней с душой человеческой! Если у тебя нет друзей, ты никогда этого не поймешь. Я иду туда, где меня ожидает больной друг, и я приду, если у меня хватит сил...

Пошатываясь, Перегрин поднялся из-за стола. Опять бегала, звеня цепью, собака. Перегрину показалось, что между лицом хозяина и выражением собачьей морды было что-то неуловимо общее. Хозяин провожал путника до калитки. Перегрин шел, не оглядываясь, но долго чувствовал на себе тяжесть подозрительного и немигающего взгляда.

Перегрин торопился. Он шел, ступая по ногам впереди идущей тени. Тень все росла, вытягивалась, словно стремилась оторваться от человека, оставить его одного.

И когда Перегрин растерянно заметил, что остался один, брошенный своей тенью, он на мгновение остановился и почувствовал неожиданную слабость. „Нужно идти, — сказал он себе, — непременно и во что бы то ни стало идти.“ Но идти он не мог. „Ничего, это сейчас пройдет“, — подумал он, опускаясь на землю и прислонившись спиной к дереву. Закрылись глаза, все опять стало хорошо и легко, как утром, до встречи с человеком на ферме. Пропали тревога и мысли, мягко обволакивала тишина. Когда усилием воли Перегрин заставил себя открыть глаза, уже наступили сумерки.

В небе расплескалось жидкое золото. Вдали, окутанные голубым туманом, фантастическим видением поднимались горы. Дремотным шумом чуть слышно шумела поникшая листва.

В чаще уже стояла ночь, а здесь, вокруг Перегрина, где лес был реже, все казалось нереальным, облитое мягким грустно-прошальным светом.

Хотелось пить. Вспомнился волнующе крепкий аромат яблок. Перегрин долго пытался встать. Скорбно улыбаясь своей слабости и беспомощности, дрожащими руками он опирался о землю, все сясь приподняться, хватал руками ствол дерева, но руки бесильно скользили и обрывались. Опять он увидел преследующий его немигающий взгляд. Во все время борьбы Перегрин в напряженном ожидании глядел перед собой.

Мягкий свет лился с неба все ярче. Что-то вспыхивало время от времени, и на деревьях, и на опавшей листве играли яркие отблески пламени.

Перегрин все еще помнил, что он куда-то шел, торопился к кому-то на помощь. Так нужно было идти, но вот, кажется, он слишком поздно вышел.

„Неужели это — конец?“ — в первый раз подумал Перегрин и улыбнулся: нет, не конец, а начало жизни, новой, настоящей жизни.

Лес, окутанный тишиной, казался храмом. И в нем, в этом храме, слышались звуки, шум опадающей листвы. Где-то внизу, в лесной ложине, бродили козы. Из небытия родился и, дрожа, поплыл гул меди. Ударил колокол. Медные звуки, торопливо догоняя друг друга, толкаясь и падая, побежали над землей.

Под эти звуки человек вспоминал. Он не знал — было это или приснилось, где и когда, но это было самое яркое, что сохранила ему жизнь, и что он трогательно и нежно любил... Волновалось ковыльное море далеких степей. Кто-то большой, смешно надув щеки и округлив губы, сильно дул, и бушующий ветер легко вырывал из земли мощные деревья, хлопал оторвавшимся ставнем и с разбега протягивал свои длинные руки в небо... Все стихало — слышен был только шум и плеск волн, набегавших на сухой песок, и где-то, за шумом и плеском, из пены волн рождались

белые паруса... Пахло чебрецом и ромашкой, сладковатым запахом клевера и сухого сена... Наплывал аромат талого снега в марте, когда, охваченный морозом, он похрустывает на вечерней заре. И опять слух ловил тонкий звук льдинок, сильную и радостную песнь потока, дрожание шмелей в нагретом, колышавшемся воздухе. Это Перегрин называл родиной, той, которая была или приснилась...

Резко оборвались воспоминания. Перегрин ясно услышал, как в наступившей тишине одиноко и тревожно прокаркал ворон. И от вороньего крика или от вечерней прохлады Перегрину стало холодно и тоскливо. Но это было только одно мгновение. Потом лес опять казался высоким собором, и в этом соборе деревья чуть слышно молились о его душе.

„... Во славу людей Твоих...“ — вспомнилось почему-то Перегрину, и сразу стало все так просто и ясно, что он повторил вслух: — Да, людей Твоих...

Так грустно, и тихо, и чисто звучали эти слова, что Перегрин легко и радостно поверил в наступающее освобождение и попросил:

— ... и прости им все, и не силу... не силу, а чистоту дай им, Господи!... — сказал он раздельно и четко, сделав ударение на словах — „не силу, а чистоту.“

Он еще раз потянулся к солнцу. Но солнце уже зашло. В лесу наступила ночь.

Поздней осенью лесорубы нашли в чаще тело. Оно хорошо сохранилось. Лица не было. Один из двоих — угрюмого вида крестьянин, с нависшими седыми бровями, — смотрел на тело одним немигающим глазом, ничего не узнавая и не припоминая.

Оба лесоруба сняли шляпы, молча постояли и, торопясь уйти, принялись за работу — расчистили топорами место, вырубili неглубокую могилу и на еловом лапнике уложили тело неизвестного.

Закурив короткие трубочки, они пошли дальше, в пути продолжая неожиданно прерванный разговор о своих делах. Когда они ушли, в лесу уже наступали сумерки.

Неслышно плыла тишина.

1946 г.

А. У Г Р Ю М О В

Расцветают яблони...

Расцветают яблони... Яблони в цвету...
Я венок из яблони розовый плету...

Заплетаю бережно я цветы в венок,
Для кого — не ведаю (все решить не мог):

Разукрашу-ль яблоней девичью косу
И любимой девушке я венок снесу,

Положу-ль подарком я на могильный холм,
Где причалил к вечности друга жизни чолн.

Расцветают яблони... Яблони в цвету...
Я венок из яблони розовый плету...

В этом цвете девственном сказочной весны
Жизнь и смерть единою цепью сплетены:

Знаю, что осыплются с яблони цветы
И со мной расстанешься ранним летом ты. —

Так, весной минувшею яблонь цвет отцвел
И мой друг единственный навсегда ушел.

Расцветают яблони... Яблони в цвету...
Я венок из яблони розовый плету...

Заплету, пожалуй, я сразу два венка —
Для любимой девушки, для креста дружка.

И в весенний, радостный, полный солнца день
Подарю я девушке яркую цветень;

Вечером-же вешнюю яблони красу
На кладбище темное другу отнесу.

Так, в цветеньи сказочном девственной весны
Будут жизнь со смертью вместе сплетены.

Расцветают яблони... Яблони в цвету...
Два венка из яблони — я решил — сплету.



(Отрывок из повести)

I

Когда вам в мире все равно:
Морфея бодрые объятья,
И крепкое рукопожатье,
И новый галстук, и вино;
Когда угрюмая панель
Маячит тускло под ногами
И вы беспцельными шагами,
Изображая карусель,
Кружитесь в городе без толку
С постылым стоном втихомолку,
Но не дотронется рука
До столь привычного звонка,

II

Не остановитесь у двери,
Куда, бывало, сотни раз
Душой, зачем-то торопясь,
Стремилась вы, во что-то веря,
Но сделав крюк, за два квартала
Вы обойдете то крыльцо,
Откуда вам порой в лицо
Весна веселая дышала...
Короче говоря, когда
Вы ощутите вдруг года,
Отвисшие в пустом бессильи,
Как тяжелеющие крылья,

III

Вам сбросить этот груз
Захочется, как искупленья
От пуль укрывшийся в сраженьи
Должно быть, жаждет втайне трус.
Вы вдруг услышите, как вспать,
Чрез буераки и курганы
Годов, в те ясные туманы,
Когда вам было двадцать пять,
Несет вас памяти стихия.
И равнодушные, сухие,
Вас тяготящие года
Тогда исчезнут без следа.

IV

Он получил в стране славянской
Легко доставшийся диплом,
Но с той же легкостью на слом
Довольство жизни эмигрантской
Отдал он, веря от души,
Что плод несут его заботы,

Что отдохнет он от работы
В алтайской пихтовой глуши.
И празднично была полна
Та двадцать пятая весна.
Как благодарственную оду,
Как гимн, он чувствовал свободу.

V

Во всем свободу: и в толпе,
Разнузданной и смуглолицой,
В бурлении ветреном столицы,
В демагогической борьбе
Балканских звонкословных партий,
В аллей каштановых рядах,
В укромных розовых садах,
В пивной коричневой полкварте,
В том, что в ликующей тревоге
Ему ни с кем не по дороге,
Что, с козырным тузом игрок,
Он так счастливо одинок.

VI

Был этот город разноликим.
Громадин серые кубы
Росли, как жирные грибы,
А рядом жалкой повиликой
Лепились хижинки, и в них
Дышал цыганской волей нищий.
Бульвары, скверики, кладбище.
Колдобины на мостовых.
Урбанистический каприз,
Увенчанный статуей мыс,
Двух рек защитник недвижимый,
Далеко врезался меж ними.

VII

Когда ж прозрачность перспектив
С холмов весь город открывала,
Как голубое покрывало,
Весенний теплился разлив.
На главной площади, с которой
Часами можно наблюдать
Реки трепещущую гладь,
Полей зеленые просторы
И облаков седые груды,
Вадымалось бронзовое чудо,
Сверкая радужным огнем, —
Пятиэтажный водоем.

VIII

Вот в этом городе, где каждый
Каштан ему был личный друг,
Впервые он услышал стук
Неутолимой пьяной жажды.
И так запели в мышцах трубы,
Так полыхнуло бытие,
Что сердце громкое свое
Он променял на чьи-то губы,
На шорох сброшенного платья,
На гордость жесткого объятия,
На ту клокочущую власть,
Что называют словом „страсть“.

IX

Он помнил... Но, как чернота
Ночную ширь одолевает,
Так терпкая и неживая
Вливалась в душу пустота.
Еще он чувствовал глубины
Пронзительных и строгих глаз,
Еще он сдерживал не раз
Напор таинственной стремнины,
Но боль рождала напряжение,
Стихало головокружение...
И облегчение тоски
Смеясь, расширило зрачки.

X

Ей восемнадцать с половиной.
Приглажена, чуть-чуть полна,
Не красит щек и губ она,
Сама румянее кармина.
Лишь пудра в сумке, чтоб унять
Не к месту вспыхнувший румянец,
Когда, десятый кончив танец,
Ей нужно томно отдыхать.
Но не рассчитан на успех
Был непритворно бурный смех,
И девочка боролась рьяно
В ней с героинею романа.

XI

Пред нею университет
Раскрыл премудрые ворота.
Но как за книжную работу
Усесться в восемнадцать лет?
От гимназической неволи
С полгода, как освободясь,
Она ученых истин вязь
Жевала с головною болью.
А в памяти играли брызги
Балов, концертов, смеха, визга,
И с книгой был сам-третей
На столике лак для ногтей.

XII

Герой мой числился по клубу.
С паркетом выложенным зал,
Портреты, схемы, стен-журнал,
Столы, сиреневые клубы
От неперенных папирос.
Здесь по средам цвели доклады,
Здесь разбирался, как шарада,
Любой общественный вопрос,
И не подумав, сгоряча,
Рубился, так-сказать, с плеча
На многословье тароватый
Самоуверенный оратор.

XIII

В тот день, печален и смущен
Переживал он случай встречи.
(Пустые вежливые речи
Прошли, как похоронный звон).
Но, оживляясь на докладе,
Почувствовал привычный пыл.
Оратор кончил. Он вскочил,
Стал возражать... Но в чьем-то взгляде..
Да! В том ряду! С каким участием
Его внимают словострастью!
И, в шенкеля взяв свой порыв,
Он сделался красноречив.

XIV

Они, конечно, уж знакомы.
„Я помню Вас. Тому назад...“
„Да, да! Ах, Боже! Очень рад.“
И проводил ее до дома.
Высоко плыли облака.
Каштаны голые томились.
Дул ветер. К рукаву прибилась
Чужая женская рука.
Но где-то стыла пустота:
Другие, близкие, уста
В их разговор весело-сладкий
Врывались будто бы украдкой.

XV

Он видел бледное лицо,
Устало мягкую улыбку...
И нераздельная ошибка,
Как обручальное кольцо,
Самосознание обвивала.
Но рядом, жарко щебеча,
Дотрагиваясь до плеча,
Надежда в ногу с ним шагала.
Знакома ль вам игра такая,
Когда, судьбой пренебрегая,
Упрямо приподнявши бровь,
Вы искушаете любовь?



С. ПАВЛОВ

(Из австралийского дневника)

„Танго-Мару“ приближался к экватору. На пароходе готовились к обычному Нептунову крещению новичков. На фордеке для пассажиров 1 и 2 классов соорудили из брезентов импровизированный бассейн и наполнили его морской водой. Для нас, обитателей трюма, на корме поставили вместительный оцинкованный ящик да десяток деревянных ведер.

— Готовься, Русь, ко второму крещению! — острил наш Ленька. — На сей раз соленой водой и на японском пароходе.

Наша компания, кроме отца Федота и баптиста, впервые пересекала экватор, по-сему мы с особым любопытством ожидали это событие. Громадный и веселый отец дьякон, тайком от отца Федота, примерил оцинкованный ящик, „бесовскую купель“, и отошел разочарованный: „Для япошек хороша, а для нас маловата, — телеса не замочишь“.

Закат у экватора изумителен по окраске неба. Порой, кажется, что весь небосклон запада объят багровым пламенем уходящего солнца. Пламя быстро переходило в золото, пурпурные ленты чередовались с фиолетовыми языками. А рядом с ними загорались голубые и зеленые огни. Облака на небе принимали сказочные формы: голубые скалы превращались в розоватые замки, в китайских драконов и легендарных всадников. Затем, все эти воздушные фигуры также быстро рассыпались на клочки, как и появлялись, улетаая вдаль за горизонт.

„Танго-Мару“ пересек экватор поздно вечером под рев паровой сирены. Наша спутница, маленькая Верочка, не отходила от борта, стараясь на потемневших волнах Тихого океана отыскать какой-либо след загадочного экватора. Но, увы, большой „чернильной полосы через все море“, бедная девочка так и не увидела.

Не успела скрыться на закате последняя полоска световой игры, как уже наступила южная ночь. Все небо покрылось мигающими звездами, заблестел и скромный Южный Крест. Подул полный неги, душно-сладкий ночной ветерок.

На нарах, в нашем трюме, отец Федот, поправляя свои очки, спокойно отговаривал отца дьякона от безумия показываться завтра на палубе и не оскорблять свой сан „бесовской“ зетеей.

— Не бойся, отец Федот, — ласково отвечал ему дьякон, — веселье басурманом не сделает! А в святом Писании сказано: живите, как птицы небесные. Сам посмотри на пташек, как они скачут...

Отец Федот безнадежно качал головой — все равно дьякона не обуздать!

На следующий день началось купанье. Коротконогий матрос-японец, загримированный под японского Нептуна, с наклеенной рыжей бородой и в традиционном кимоно, одетым на голое тело (повидимому, по их поверью, все греческие боги на Олимпе носили кимоно), уселся на бочку, держа в руках деревянный трезуб. За ним встала его свита, тоже в кимоно. Японские матросы-новички подходили к трону Нептуна, смиренно кланялись владыке морей и что-то бормотали. После коротких вопросов Нептуна, два молодца из свиты ловко хватали новичка и, под хохот и крики присутствующих, три раза опускали в оцинкованный ящик с морской водой. Затем, мокрого ноеичка тянули вновь к трону. Бог морей милостиво хлопал трезубом по спине склонившегося перед ним мореплавателя. На капитанском мостике посвященному отпускался стакан горячей японской водки сакэ и письменное свидетельство о церемонии. После матросов японский Нептун вежливо предложил желающим пассажирам проделать этот традиционный, но явно вырождающийся ритуал моряков.

Первым склонил свои колени перед Нептуном наш Леня. „По крайней мере, выкупаюсь, да и водочки выпью!“ На все вопросы морского повелителя, он бойко отвечал по-русски:

— Тамбовской губернии, из крестьян, 30 лет от роду, еду в Австралию, а куда попаду — не знаю!

Пронзительный крик и рев паровой сирены неожиданно прервали церемонию. „Танго-Мару“ круто переменял свой курс и застопорил машины. От резкого толчка Нептун слетел с бочки. „Человек за бортом!“ — прокричали с капитанской рубки. Не успели мы опомниться, как стоявший у борта отец дьякон сбросил с себя подрясник, сапоги, перемахнул через перила и исчез.

На палубе забежали матросы. Сверху на лебедках спустили спасательную лодку с дежурными матросами. Все подбежали к правому

борт. На волнах качались две головы: одна японская, другая — с бородой — отца дьякона. Через несколько минут матросы подобрали пловцов и благополучно доставили на пароход. Как оказалось, японец матрос, красивый борт парохода, неожиданно сорвался с подвесной площадки и упал в море.

Капитан оценил подвиг отца дьякона, крепко пожал ему руку и поднес стакан саке.

Промокший до костей и дрожащий от холода, отец дьякон спустился в трюм.

— Эх ты, дурная голова, — ласково журил его отец Александр, — не спросивши броду, полез в воду. Удивляюсь, как тебя акулы не слопали!

— Ну, что касается акул, так любая испугалась бы моей бороды, — шутил дьякон. — А насчет броду, так ведь живой человек упал за борт, а откуда я знал, что он пловец? Ведь не даром же в 20-м году я перемахнул через Амур, когда бежал от красных. Амур же почище Тихого океана, река серьезная — шутить не любит!

Вечером к нам в трюм спустился незадачливый маляр-матрос и сунул отцу дьякону бутылку саке, консервы, японские сласти.

— Какой ты щупленький, — хлопал по плечу его дьякон, — а плаваешь, как рыба!

— Аригато, аригато, спасибо! — улыбался довольный японец.

Спустились к нам и пассажиры первого класса: миссионеры и знакомый инженер-австралиец. Они с нескрываемым любопытством осматривали со всех сторон отца дьякона и, снисходительно хлопая по плечу, приговаривали:

— Хороший, хороший мальчик!

Возмущенный Ленья ворчал:

— Какой он вам мальчик! Ходят, словно в конюшню цирка, а еще культурные!...

День закончился закуской и выпивкой. Нигде и никогда в мире русские посиделки не обходились без песен. Все то, что накопилось в душе, вся наша печаль, горе и радость, жгучая тоска по покинутой родной земле растворялись в этих звуках.

Песни про тяжелую долю российского народа, веками ищущего высшей правды, людской справедливости и братской любви на земле, чередовались с удалью Ваньки-Ключника, с разбоем красавца Степана. Звон колодок бритых каторжан, взывающий к людскому милосердию, перекликался с церковным благовестом вечернего звона сельской церквушки. Печально-скорбные, разухабистые, веселые мелодии российских песен неслись по глубокому и мрачному трюму „Танго-Мару“, как бы стараясь вырваться вверх, на широкий простор, чтобы поведать всему миру о страшной трагедии великого, одаренного и глубоко несчастного народа...

*

„Танго-Мару“ приближался к берегам Австралии. Мы часами просиживали на корме

или же у себя в трюме, слушая рассказы баптиста, жившего в Квисленде.

— Австралия — самый большой из материков. Площадь страны свыше семи с половиной миллионов квадратных километров, иными словами, в Австралию можно уложить четырнадцать Франций. Население страны незначительное — нет и семи миллионов.

— Так, значит, и для куренка найдется место, а для нас тем более, — сострил кто-то.

Но, оказывается, весь центр материка, почти четверть страны — бесплодная пустыня с большими солеными озерами. Климат страны: на севере-тропический, на юге — умеренный. На севере и востоке — тропические леса, постепенно переходящие в эвкалиптовые рощи. Здесь царство тропических фруктов, сахарных, банановых и хлопковых плантаций. Юго-запад опоясан типично австралийскими редкими лесами, насчитывающими свыше 4000 видов деревьев и кустарников, присущих только одной Австралии. По всей стране растет, так называемое, железное дерево. К центру со всех сторон тянется „саванна“ — вечно зеленое пастбище для скота, основное богатство страны.

Крупных и хищных животных в Австралии нет, зато животный мир чрезвычайно оригинален: гигантские летучие мыши, собака-волк — динго, грызуны и свыше сотни сумчатых — от кенгуру до сумчатых медведей, волков и зайцев.

— Я целый год занимался тем, что охотился на маленьких кенгуру — „воллоби“, — заявил нам рассказчик, — скакал по полям и стрелял их с утра до вечера. В некоторых районах эти грызуны настоящий бич — за ночь уничтожают целые плантации. Одновременно, ставил трапы на кроликов. Эту прыгающую скотинку завезли сюда из Европы лет сто тому назад, а теперь они расплодились, как крысы... Наши дамы заволновались, узнав, что в Австралии свыше 170 видов змей — от громадного питона до маленькой, глухой и слепой, но чрезвычайно ядовитой змейки, от укуса которой нет противоядий.

— Кроме кроликов, — продолжал баптист, — другой бич был завезен в Австралию. В прошлом столетии какая-то англичанка привезла с собой, в качестве комнатного украшения, горшок с кактусом. Теперь же миллионы гектаров плодороднейшей земли заняты этим паразитом. Там, где завелся кактус, он убивает всякую другую растительность. Австралийский страус — эму и другие птицы любят лакомиться плодами „приклипирра“ — кактуса, ну вот и разносят семена по всей стране. Причем, этот паразит необычайно живуч. Обычно его срезают, выкорчевывают, распахивают все поле, сушат, сжигают, и все же из-под земли вновь тянутся свежие ростки. Правительство предложило крупнейшее денежное вознаграждение тому, кто найдет наиболее эффективный и дешевый способ борьбы с ним.

— Вот, отец дьякон, — прокричал Ленья, — придумаем что-нибудь против паразита да и загребем деньги!

— Нам денег не надо, — пробурчал сердито дьякон, — нам с отцом Федотом курочек бы завести!...

— Вот, вот, расскажите нам про курочек! — зашевелился отец Федот.

— Куриные фермы — дело доходное, — объяснил наш лектор: только возни много. Для них нужен специальный режим, даже землю приходится менять несколько раз в день, — иначе нападет червяк. Петухов к ним не подпускают, только к породистым, для продолжения куриного потомства...

— Какое насилие, — обиделся за кур дьякон, — а у нас — клюй, что хочешь; гуляй, где хочешь и несись, сколько вздумается, без всякого учета!

— Эх, дьякон, то Россей, а здесь заграница — каждый куренок на счету! — глубокосмысленно заметил казак.

От лектора мы узнали, что пернатый мир Австралии также чрезвычайно богат и своеобразен: попугаи всевозможных размеров и ярких оперений, колибри, голуби, дикие куры, красавица птица-лира, «кокабурри» или «смеющийся Ванька» — птица, бесподобно имитирующая смех и истребляющая змей; прыгающая, без крыльев, «Киви», плачущий «Курлю», страус — Эмью, способный ударом лапы сбить человека с ног. Но леса в Австралии печальные — ни одна из птиц не поет, а роскошные тропические цветы — без запаха.

— Зато с голоду в лесу не умрете, — успокоил рассказчик, — дикие, но вкусные плоды, пьяная малина, множество других ягод, кокосовые орехи, хлебное дерево и масса съедобных кореньев! Вот живут же австралийские чернокожие — в рестораны не ходят, а с голоду не умирают, сама мать природа заботится о них. Кстати, о туземцах. Повидимому, они пришли в Австралию с севера, из Азии в тот период, когда Австралия соединялась с Индией. Вплоть до появления белых, т.е. до 1788 года, когда была основана первая английская колония, чернокожие владели всем материком. Теперь их осталось, всего навсего, тысяч шестьдесят. Сии быстро вымирают. В Тасмании уже ни одного чернокожего не осталось. Удивительный народец, но будьте с ними осторожны: зазеваешься — съедят! — засмеялся наш балтист.

*

На рассвете «Танго-Мару» бросил якорь у самого северного владения Австралийского Союза — Четверговых островов. На пароход поднялись таможенные чиновники. Они поздравили нас, новых жителей Австралии, с благополучным прибытием в страну, отобрали все паспорта с визами, заменив их обыкновенными расписками. „Берегите их на случай,

если вздумаете уезжать из Австралии“ — вежливо предупредили чиновники, — „кроме того, расписка служит страховым полисом вашей жизни в 800 фунтов стерлингов. Напишите, кому вы желали бы передать деньги, если с вами произойдет несчастный случай!“

— Да как же так без паспорта, — взмолился отец дьякон, — ведь любой квартальный надзиратель арестует нас? — И, несмотря на все уверения, что это — не Россия и здесь никто паспортов не требует, дьякон не мог успокоиться. Расписку бережно завязал в платок и спрятал подальше.

Чиновники тщательно проверяли и пересчитывали команду парохода — японцев. Они долго рассматривали нашего забайкальского казака Иннокентия, удивляясь, почему он такой смуглый и похож на китайца. Оказывается, во избежание конкуренции белым, всем цветным народам иммиграция в Австралию строжайше запрещена. В полдень осмотр был закончен, и «Танго-Мару» снялся с якоря. Тихое и спокойное море;плыли, как по-реке. Справа и слева виднелись пустынные и плоские коралловые острова.

Австралийский материк мы увидели, когда наш пароход зашел на несколько часов в порт Таунсвилль. Перед сходящими, на берегу спокойно и важно разгуливал монументальный полицейский „Бобби“.

К нашему изумлению, нас никто не остановил и никаких документов не спросил — так радостно и непринужденно мы впервые вступили на австралийскую землю.

— Смотри, смотри, рабочие-грузчики, а жуют бананы, настоящие бананы, — восхищался забайкалец Кеша. Лишь отец дьякон не разделял нашей радости; боясь, что, все-таки, у него спросят паспорт, он не рискнул сойти на берег и остался с отцом Федотом в трюме.

Мы шли по широкому шоссе с пристани в город. Навстречу неслись автомобили. Вот на „Форде“ появились мясник, булочник. Окрашенная в белую краску грузовая машина подвозила к «Танго-Мару» лед. Велосипедистов — бесконечное количество, кажется, что все население небольшого портового городка пешком нигде не ходит. Вдоль шоссе посажены пальмы, фруктовые деревья „манго“, открытые, ничем не огороженные, грушевые деревья, громадные „паупа“. Свежие, сочные фрукты висели на деревьях и дразнили нас. Но никто из проезжих не срывал, даже не замечал их. Шли и мы мимо, глотая слюни.

— Неужели так никто, кроме хозяина, их и не рвет? Хотя бы колючую проволоку протянули от соблазна. Разве можно так пытаться людей, — простонал Ленья.

Приближаясь к городу, мы с любопытством рассматривали типично австралийские деревянные дома. Одноэтажные дома, с широкой верандой вокруг всего здания, на довольно высоких столбах (как оказалось, столбы, пропитанные специальной жидкостью, пре-

дохраняют дома от термитов, поедающих дерево, кроме того, такая конструкция дает прохладу), окружены садами и цветниками. У каждого домика свой гараж. В самом городе встречались и каменные здания, главным образом, правительственные.

Таунсвилл — городок небольшой, но необыкновенно уютный и красивый.

В Австралии «сухой закон», запрещавший торговлю спиртными напитками, всенародным голосованием был навсегда отвергнут, а посему из открытых баров и пивных Таунсвилля доносился галдеж и смех подгулявших австралийцев. Мы перемигнулись и молча направились в более спокойный бар отпраздновать наш приезд. Но, как объяснить, что пива мы не хотим, а предпочли бы чего-нибудь покрепче? Гурьбой подошли к стойке и встали, как вкопанные перед удивленным хозяином. Выручил Ленья: указывая пальцем на пустые рюмки, он на чистейшем лондонском наречии бойко произнес одно хорошо знакомое ему слово — пить. Хозяин, быстро определив по нашему виду и манерам, что мы только что прибывшие иммигранты, медленно, стараясь быть понятым, вежливо спросил нас: «Какой напиток джентльмены желали бы попробовать?» От такого вопроса мы вновь замешкались. Долго соображали и спорили, как попросить чего-нибудь покрепче, вроде водки, и как это будет звучать по-английски. Выручил Кеша. Он схватил пустую рюмку, поднес ее к губам, а затем схватился обеими руками за шею, выпучив глаза, закачал головой. Хозяин, улыбаясь, налил нам джина. Этот крепкий напиток расхрабрил нас и быстро развязал языки. На все вопросы любознательного хозяина мы бойко, наперебой, отвечали ему, припоминая знакомые английские слова, всякий раз объясняя их жестами. Подведя хозяина к карте и тыкая пальцем по городам и странам, рассказали ему всю нашу печальную одиссею. Расстались мы друзьями. На главной улице города уже горели фонари, блестя ярко освещенные витрины магазинов, из кино доносилась музыка, а в барах кричали патефоны. По улице прохаживались чисто одетые горожане.

— Смотри, как чисто и богато здесь одеваются: на всех тройки, воротнички, галстуки! Все добротное. А где же пролетарий? — поинтересовался Кеша. Он никак не хотел верить, что большинство гулявших дале-

ко не буржуи, а самые обыкновенные рабочие.

— Буржуи в автомобилях катаются, — пояснил Ленья. Но он и впоследствии был несказанно удивлен, узнав, что большая часть автомобилей в Австралии принадлежит рабочим.

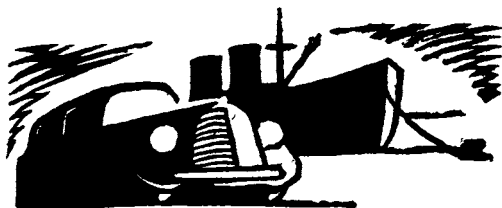
В городе мы не встретили ни одного нищего. Как оказалось, в этой стране, вообще нет нищих, есть бедные, но нищих и попрошаек совсем не существует. Специальный закон строго запрещает просить милостыню и попрошайничать, причем тех, кто подает милостыню и поощряет попрошайничество, штрафуют вдвое. Нет денег — иди в полицию, где накормят и напоят.

Нам нужно было спешить на пароход, купить провизии и, непременно, заказанные отцом дьяконом, яйца. Хлеб, сыр, масло и фрукты купить было легко, ткнув пальцем в лежавшие на прилавке или витрине продукты. Гораздо сложнее обстояло дело с яйцами. Как на зло — все позабыли, как называются по-английски яйца, а переводчика с нами не было, на витринах же яиц мы не встретили.

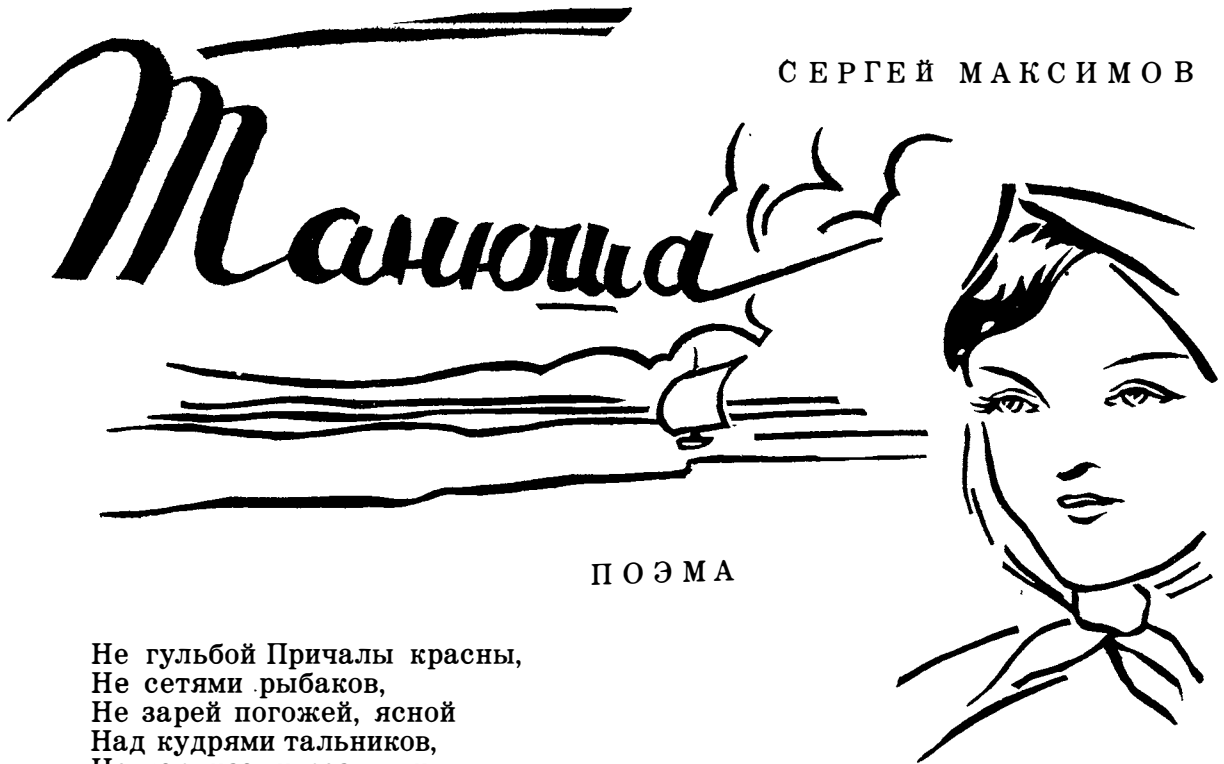
Пройдя всю улицу, в самом конце города, мы, наконец, храбро, опять гурьбой, зашли в магазин, как будто бы молочных продуктов — пришлось еще раз ткнуть пальцем в сыр и масло, а яиц опять нет. Магазины же закрывались и нужно было спешить. Выручил опять забайкалец Кеша. Он вдруг сел на корточки перед растерявшейся продавщицей, жалобно прокричал: „Ку-ка-ре-ку!“, и показал ей несколько яблок. Продавщица громко расхохоталась, но из холодильника принесла корзину яиц.

Довольные и веселые мы возвращались к себе на пароход. По дороге нас обогнал автомобиль и круто остановился. Из машины выскочил рослый австралиец и, обращаясь к нам, пробормотал что-то невнятное.

— Ну, засыпались! — мрачно прошептал Ленья и вслух стал соображать, за какое беззаконие нас потянут в тюрьму. Незнакомец, видя наше смущение, жестами дал понять, что хочет подвезти нас к пароходу и открыл дверцу. Смущаясь и не особенно доверяя ему, мы молча влезли в лимузин. Через несколько минут машина встала у сходней «Танго-Мару». Мы вытянули свои кошельки, но австралиец покачал головой, засмеялся, приложил руку к сердцу и сел в машину. Тут только мы опознали незнакомца. Он был в баре, когда мы объясняли хозяину, кто мы и почему нам пришлось покинуть Родину.



СЕРГЕЙ МАКСИМОВ



ПОЭМА

Не гульбой Причалы красны,
Не сетями рыбаков,
Не зарей погожей, ясной
Над кудрями тальников,
Не карнизами резными,
Не стерляжею ухой,
Не челнами расписными,
И не Волгою-рекой;
И не песней разудалой,
Что летит по-над водой...
Нет, другим красны Причалы,
Красны девицей одной...

1

У Танюши губы алы,
У Танюши кровь — ручей.
Ходит Таня по Причалам
И не смотрит на парней.

Парни пьяны не от водки,
От любви — не устоять.
— Вот такую бы красотку
Хоть ды раз поцеловать!

Лучше девки нет на Волге,
Обыщи хоть каждый куст!..
Но никто еще в поселке
Не коснулся алых уст.

Косы треплет ветер шалый.
Гнутся вербы у плетней.
Ходит Таня по Причалам
И не смотрит на парней.

2

Время — песня.
Время — птица.
Сроки все на поводу.
Стерегла любовь девицу
На семнадцатом году.

В мае сладко пахнут вишни.
Снег цветов в садах Причал.
Ранним утром Таня вышла
С коромыслом на плечах.

Где-то конь стучит подковой.
В полусне кричит петух.
На горе кнутом пеньковым
Звонко щелкает пастух.

Таня к берегу подходит, —
Берег в ивы разодел, —
И босой ногой проводит,
Замирая, по воде.

Не осетр в реке играет,
Не стерлядка сети рвет —
Таня брызги поднимает
И саженками плывет.

„... окрасился месяц багрянцем...“

Эй, туман, кого скрываешь?
Кто там едет впереди?

„... он бури такой не видал...“

Пальцы девицы хватают
Медный крестик на груди.

„... поедем, красотка, кататься —
давно я тебя поджидал...“

Русы кудри взбиты лихо,
А с лица — румян и бел,
Парень ехал тихо, тихо
И негромко песню пел.

„... поедем навстречу раздолью, —
я свежие ветры люблю, —
дам парусу полную волю
и в пене тебя утоплю...“

— Эй, красавица-девица!
Заплыла ты... не того...
Кабы щука, аль плотвица
Не схватили бы чего!...

Тане страшно и обидно,
На щеке дрожит слеза.
— Отъезжай скорей, бесстыдник...
Эка вылупил глаза!

Поднял весла он, хохочет.
Прибережный вторит лес.
— Ну, плыви одна, коль хочешь.
Весла — в воду, и ... исчез.

3

С тех пор покой нарушен
Дикой девичьей души;
По ночам не спит Танюша, —
В мае ночи хороши!

Кудри русы,
Кудри русы
Не дают спокойно спать.
Кудри русы!
Кудри русы!
Где бы встретить вас опять?

Но пропал голубоглазый,
Развеселый паренек,
И никто в селе ни разу
Повстречать его не мог.

Время — песня.
Время — птица.
Сроки все на поводу.
Стерегла любовь девицу
На семнадцатом году.

4

Бусы. Ленты. Смех. Припевки.
Сапоги — первейший хром.
Пляшут парни, пляшут девки
На обрыве за селом.

Вдоль дороги, у колодца
Сарафанный бьет прибой.
И лисой в толпе крадется
Тихий шопот: «Здесь — чужой...»

Руки тянутся к свинчаткам.
Ты откуда, пришлый гость?
Кто-то пробует украдкой
Можжевелевую трость.

И слетелись, точно совы.
— Бей чужого!
Крики. Свист.
И бежит с колом сосновым
Разъяренный гармонист.

Радость сердца не измерить,
Не унять его трезвон.
Смотрит Таня и не верит:
Неужели это он?

Словно дым, исчезло горе.
Не глаза, а — синий шелк.
— Как зовут тебя?

— Григорий...
Из-за Волги я пришел.

Прячут парни колья, камни,
Остывает злобы пыл.
И выводит друга Таня
Из смутившейся толпы.

Лунный вечер синей пяткой
Встал на белую скалу.
Жжет Танюше губы сладко
Первый в жизни поцелуй.

5

Дни мелькают, как осколки.
Август мнет цветы дорог.
До поздна горит в поселке
В крайнем доме огонек.

Сердце матери страдает,
И не мил ей Божий свет, —
Таня где-то пропадает,
Ночью Тани дома нет.

Ходят слухи по Причалам,
Бродит ведьмой злая весть,
Будто девка потеряла,
Потеряла совесть — честь.

6

Дождь сечет промозглый вечер.
Скользки вербы, как ужи.
Листья рвет с березок ветер
И над кладбищем кружит.

Звон церковный глуше, глуше...
Журавли на юг летят.
Ждет - пождет дружка Танюша
Три неделюшки подряд.

Думы молча черной стаей
Тянут горя тряский воз.
Грустно девица шагает
С узелком на перевоз.

7

То не осень хлещет градом,
И не Волга - мать шумит.
То гремит село Отрада,
Пиром свадебным гремит.

Вьется к небу дым кудлатый,
Под ножом бугай ревет.
Хомяков — мужик богатый —
Дочку замуж выдает.

Шумно в доме. Лица потны:
Воздух скручен в душный жгут.
Гости пьют-едят охотно,
А ландрин в карман суют.

В новом платье, черноброва,
Что твой розовый павлин,
Маша - дочка Хомякова —
В трубку крутит жирный блин.

Верещит гармошка рьяно.
— Горько нам! — кричит народ.
И Григорий полупьяный
Тянет к Маше влажный рот.

Все кипит в хмельном угаре.
Льется пиво, брага, мед,
Ходит пьяный дед Макарий,
Ходит пьяный и поет:

„...звуки вальса несли-и-ись,
веселился весь до-о-ом...“

— Вот так дело!

Смерть запела!

Братцы! Глянь на старика!

„...я с кинжалом в руке
па-а-аджидал под окном...“

А старуха —

Говоруха

Тянет деда за рукав:

Ах, ты, старый хрыч, бездельник!
Говорила я: не пей!
Ты бы, рыжий можжевельник,
Постыдился хоть людей!

— Отойди, ты, стара сводня —
После будешь каяться!
У меня душа сегодня
Прямо надрывается!
И по этому случаю
В шею дам, как давеча.
Вишь, на свадьбе я гуляю
У Ивана Саввича!..

На окошке
Щурит кошка
Хитрый глаз на осетра.
Юркий дружка
Сыплет в кружку
Перестуки серебра.

Чики-чики,
Чики-чики...
Подымая с пола пыль,
Дед Макарий
Польку шпарит
Под веселую кадрили.

Эй, ты, теща,
Темна роща!
Ты старухам дай ответ:
Что девица,
Молодица —
Чистый голубь али нет?..

Девки ловки,
У плутовки
До греха недалеко —
С кринки свежей
Кем заезжим
Не снято ли молоко?

Топот ног. Стаканов звоны.
А в углу, поверх голов,
Смотрит с пепельной иконы
Темноликий Саваоф.

Вдруг в махорочном тумане,
Словно коршун молодой,
На пороге встала Таня,
Гордо крикнув свадьбе: — Стой!

.

Сердце русское широко,
Сердце русское темно,
Сердце русское жестоко
Сердце русское пьяно...

8

Наливных гостей тараня
И ступая по ногам,
Подошла к невесте Таня:
— Мой Григорий! Не отдам!

Ой, вы, гости, вы, гостечки!
Уж поведаю я вам:
Коротала с Гришей ночи
Я все лето по лесам.

Я ношу в себе тяжелый
Якорь нашего греха...
Что ты, Гриша, не веселый,
Не похож на жениха?

Он встает мрачнее тучи
И бледнее полотна, —
Не ушла бы из-под ручек
Хомяковская мошна...

Злобы черную краюху
Поднял парень с сердца дна:
— Уберите эту щлюху!
Сумасшедшая она!

Волокут на двор Танюшу,
Жестки взгляды пьяных лиц.
Кто-то крепко кроет „в душу“
Всех причалинских девиц.

Эх, селяне! Эх, селяне!
 Что вас Бог не приберет?
 На дороге плачет Таня,
 Сжав рукой разбитый рот.

Алой струйкой кровь сбегает
 На опавшую хвою.
 — Ой, ты, матушка родная,
 Посмотри на дочь свою!..

Раны боль — все тише, тише...
 Боль уходит, зло сосет:
 — Ох, настанет время, Гриша —
 Поцелую в мертвый рот.

9

Черный вечер. Черный вечер.
 Низко мчатся облака.
 Волга бурей рвет и мечет,
 пеной хлещет в берега.

Бьются волны в дикой ссоре,
 Бьются волны грудь о грудь.
 И торопится Григорий
 Лодку в воду оттолкнуть.

Над горой луна вертится,
 Туч лохматых рвет кольцо.
 У прохожей черным ситцем
 Все закручено лицо.

„Окрасился месяц багрянцем,
 Он бури такой не видал.
 — Поедем, красотка, кататься,
 Давно я тебя поджидал...“

Хруст шагов ему не слышен,
 Тень ложится на кусты.
 Надевай же весла, Гриша,
 В путь последний едешь ты!

Сердце бьется, точно птица,
 И дрожит, дрожит рука...
 И горят под черным ситцем
 Два зеленых огонька.

Буря брызжет пеной клейкой.
 Где вы: солнце, кудри, май?
 Нож взлетает желтой змейкой —
 На!.. любимый, получай!

Вечер кроет, хмурия брови,
 Черным саваном восток.
 Тяжело хрипит Григорий,
 Повалившись на песок.

В белой пене, как в сметане,
 Ветер лодку закрутил.
 И гребет усердно Таня,
 Выбивается из сил.

Ах, ты, Таня! Эх, Танюша!
 Ждет тебя бубновый туз.
 Ты куда везешь, Танюша,
 Полумертвый синий груз?

Сердце русское широко,
 Сердце русское темно,
 Сердце русское жестоко,
 Сердце русское пьяно...

Пой же, буря, аллилуйя!
 Лунной дрожью облит труп.
 Кто-то вместе с поцелуем
 Кровь срывает с темных губ.

.

10

Робкий луч в туманной рани
 Тело лодки обласкал.
 Это кто-ж на ребрах стланей
 Крестик медный потерял?

И поет рыбак в поселке.
 Тянет пальцы Солнце-Царь.
 И плывут, плывут по Волге
 Два, обнявшись, мертвеца.

И церковных перезвонов
 Бьют горячие ключи,
 И старушка под икону
 Молча ставит три свечи...

Февраль-март, 1946 г.







АГЕНТСТВО

„МОЛНИЕНОСНЫЙ
ОТВЕТ“

(ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА)

Глава первая, в которой читатель знакомится с необычной личностью Аристарха Непомнящих и событиями происшедшими в первый день нашего прибытия в Харбин.

Устройство своей судьбы в Харбине мы начали с того, что поселились в комфортабельном отеле „Ориент“ в Новом городе. Цены на номера в „Ориенте“ были чрезвычайно высоки для наших пустых карманов, добросовестно очищенных хунхузами. Когда Герасим Вавилонов попробовал робко выразить сомнение в нашей платежеспособности, Аристарх Непомнящих сказал ему тоном, не допускающим возражений:

— Дорогой друг, добывание фен, сен, иен, даянов и прочих денежных знаков, пользующихся вниманием во владениях Чжон-Цзо-Лина, я беру на себя. Я вижу, что твои глаза покрылись плесенью недоверия. Это меня огорчает, и посему я напому тебе мой жизненный девиз и девиз всех моих друзей — это четверостишие великого Гете.

Тот, кто верой обладает
В невозможнейшие вещи,
Невозможнейшие вещи
Совершать и сам способен.

Продекламировано это было учителем с таким воодушевлением, такая железная воля звучала в его обычно мягком голосе, что Герасим Вавилонов почувствовал себя в положении гимназиста первого класса, у которого во время вдохновенного рассказа учителя греческого языка об одиннадцатом подвиге Геракла, из парты вдруг выпала на пол бутылка водки и кусок чайной колбасы. Продекламировав, Аристарх подошел к окну.

Пока учитель стоял у раскрытого окна, в которое врывались истошные вопли китайских разносчиков, Герасим молчал, стараясь не смотреть на меня. Он чувствовал себя преотвратительно, понимая, что допустил непростительную глупость по отношению к себе и величайшую бестактность по отношению к нашему мудрому учителю и другу. А что, господа, на свете может быть мучительнее сознания только что совершенной глупости? Тягостное молчание нарушил Аристарх. Подойдя к нам, он сказал своим обыч-

ным задушевым голосом, трогаящим до глубины души:

— Дорогие друзья, уверен, что мне больше не придется вам напоминать о девизе, которому при всех жизненных ситуациях должны следовать те, кого я считаю своими друзьями. Если вы будете верить, что на свете нет ничего невозможного для человека с твердой волей, вы добьетесь всего. Никогда не теряйтесь, какую бы запутанную и сложную комбинацию не поднесла вам жизнь...

Маленькие голубые глаза Аристарха смотрели с неизъяснимой мудростью, понимающей сокровенные тайны бытия человека. На морщинистом пергаментном лице, заросшем серебристой бородой, играла детская улыбка.

Посмотрев каждому из нас в глаза, учитель пошел в угол и стал развязывать свой дорожный мешок из шкуры серебристой нерпы. Порывшись в нем, он вытащил небольшой сверток, обернутый в старый номер „Тихоокеанской звезды“.

Когда Аристарх развернул газету, мы увидели несколько четырехугольных кусков старой кожи. Взяв один из кусков, учитель завернул остальные и снова спрятал в дорожный мешок.

— Вот, — махая перед глазами Вавилонова куском вынудой кожи с выдавленными на нем какими-то странными знаками, улыбаясь, проговорил он, — вот, малодушные, то, что позволит нам безбедно просуществовать первое время в Харбине, пока не приедет из Сингапура человек-бриллиант № 11. Будут у нас и иены и доллары, валюта любой страны, которая нам потребуется.

Герасим Вавилонов, за пять дней наших приключений в дебрях сунгарийской тайги не успевший составить себе ясное представление о необычайной личности и жизни учителя, с недоумением и даже некоторым испугом смотрел на Аристарха. Тот, поймав этот взгляд, весело рассмеялся.

— Не думайте, что Аристарх Евлампиевич Непомнящих сошел с ума, мой молодой друг.

Это кожаные деньги, которые выпускала для туземцев Алеутских островов российско-американская компания. Это большая редкость. Ни в Лувре, ни в Британском музее нет ни одного экземпляра этих кожаных денег. Не позже, как сегодня вечером мы будем иметь с вами приличную сумму.

— А где вы их достали? — спросил Герасим Вавилонов.

— Эти деньги мне принесли чукчи, когда я был чукотским королем в Советской России.

Аристарх подошел к ночному столику и нажал кнопку электрического звонка. Вошел бой китаец.

— Чего ваша господин хочет? — спросил бой.

Учитель заговорил с боем по-китайски. Лицо боя сначала расплылось в улыбку, потом стало растерянным, как у человека, у которого только что сбежала любимая жена, потом он снова заулыбался, почтительно слушая мурлыкающие звуки китайских слов, с легкостью вылетающих из горла нашего великого друга. Потом, сделав нам прощальный жест рукой, учитель исчез в открытую боем дверь.

Вавилонов минут пять сидел в полном оцепенении, как замороженный, потом постучал себя пальцем по лбу и взволнованно сказал:

— Вот въехали в грязную историю. Залезли в великолепный отель, денег ни копейки и старик вдобавок с ума спятил. Везет нам, как человеку, который собственное ухо откусил. Он давно уже рехнулся или только после ужасов, пережитых нами?...

— Вавилонов, — с трудом сдерживая негодование, перебил я. — С людьми, которые отзываются об Аристархе Евлампиевиче Непомнящих даже с тенью недоброжелательности, я поступаю обычно всегда одинаково. Чтобы не вести с ними лишних разговоров и не затевать скандала, я выбрасываю их в окошко, независимо от того, на каком этаже происходит разговор. За время моих скитаний по белу свету с учителем, у меня было 17 таких случаев. С тобой может произойти восемнадцатый.

Вавилонов вскочил с кресла.

— Ты, ты, — задыхаясь от гнева, с трудом проговорил он, — ты забыл, мой милый мальчик, что я считаюсь лучшим охотником на тигров в Уссурийской тайге. Если ты еще тоже не вообразил себя каким-нибудь королем, то я прошу не забывать, что мной убито 27 манчжурских тигров, и учти, что я хожу охотиться на тигров один.

— Тем не менее, я оставляю мое предупреждение в силе, — сказал я, с трудом освобождаясь из железных рук Герасима. — То, что кажется тебе странным в поведении учителя, есть только результат того, что ты еще не понял, с каким человеком имеешь дело. Это умнейший, образованнейший человек земного шара нашей эпохи. То, что кажется тебе странным в непонятном его поведении, есть

результат его гениальности. Судьба гениев — всегда быть непонятыми современниками. Те же, которых современники признают гениями при жизни, всегда развенчиваются потомками. Ты имел счастье встретиться с умнейшим и благороднейшим человеком нашего времени. Цени это, относись снисходительно к его маленьким человеческим слабостям и постарайся почерпнуть крупицу его мудрости.

Вавилонов, опускаясь в кресло, презрительно хмыкнул.

— Да, но этот гений изволил заявить, что он был чукотским королем. Как мне известно, чукчи живут в такой стране, где не может быть и речи о каких-нибудь королях.

— Тем не менее он был чукотским королем именно там. Он был королем всех приморских береговых чукчей три года. Он перестал им быть только полтора месяца тому назад.

— Я хотел бы все же услышать некоторые подробности.

— Ты их услышишь позже, когда придет время.

— Откуда Аристарх знает китайский язык?

Наивность Герасима вызвала у меня пароксизм смеха, я дохохотался до того, что слезы выступили из глаз.

— Ну, — насмешливо сказал Вавилонов, когда я успокоился, — может теперь ты объяснишь мне причину твоего идиотского смеха. Я подозрительно отношусь к оптимистам. Из любого курса психологии для средней школы известно, что самые веселые люди круглые кретины. Они смеются больше всех.

— Спасибо за тонкий комплимент. Но, тем не менее, я смеялся не без причины.

— Интересно, что же это за причина? — иронически спросил Вавилонов.

— Тебя удивляет, что учитель говорит по-китайски? Милый друг, это — великий лингвист мира. Карл Вальсдорф, немецкий лингвист, знает 208 языков и наречий. Учитель знает на 26 языков более, чем Карл Вальсдорф. Он знает 6 языков сибирских племен, которых не знает Карл Вальсдорф, 6 языков негритянских племен, 7 языков индийских племен Латинской Америки и 7 языков племен Новой Гвинеи, Полинезии и Меланезии, которых не знает Карл Вальсдорф. Только с присущей ему скромностью он не желает афишировать свои знания. Аристарх Непомнящих закончил московский, чикагский, берлинский и сорбоннский университеты, одиннадцать факультетов в общей сложности. Он обладает изумительными познаниями во всех областях современного знания, у него всеобъемлющий ум и потрясающая память. Знания, которые содержатся в голове этого маленького седобородого старичка, по внешности напоминающего русского крестьянина, не уложатся во все тома британской энциклопедии. Это Аристотель наших дней, по капризу судьбы родившийся в заимке семиреchen-

ского казака у подножья Тянь-Шаня и носящий по иронии судьбы фамилию Непомнящих. Как же не хохотать над тобой, когда имея счастье быть с этим человеком, совершеннейшим созданием человеческого рода на нашей планете, ты приходишь в изумление, когда он говорит на китайском языке, одном из 234 языков, которыми он владеет в совершенстве, как родным русским.

— Да, но этого я не знал, — сконфуженно пробормотал Герасим, почесывая ухо. — Расскажи мне, Платон, о его жизни, что знаешь.

В этот момент открылась дверь и в номер вошел учитель, а вслед за ним незнакомый нам мужчина лет тридцати пяти. Мужественное красивое лицо его, дышавшее энергией, было покрыто темнокоричневым загаром, зеленоватые глаза выражали недюжинный

ум и твердую волю. От правого уха к крутому широкому подбородку шел шрам от полученного когда-то удара саблей.

— Знакомьтесь, друзья мои, — со своей обычной обворожительной улыбкой проговорил учитель, положив на стоящий посреди номера круглый стол сверток с покупками. — Это Иван Сусанин, в прошлом офицер русского флота, вождь одного из племен Горного Тибета, доктор тибетской медицины в Лхассе. Он только два дня тому назад приехал в Харбин из Лхассы. Мы с ним старые знакомые, и я вас прошу ему доверять во всем, как и мне. Наш новый друг знает Манчжурию, Корею, Китай и Тибет, как свои родные Командорские острова, на которых он появился на свет. Он нам будет полезен, пока мы с ним будем жить в стране Чжон-Цзо-Лина.

Глава вторая, в которой становится известным о гибели человека-бриллианта № 11 в Южно-Китайском море и о намерении Аристарха создать справочное агентство „Молниеносный ответ“.

Когда я вошел на другой день утром в номер к Аристарху Непомнящих, он сидел за письменным столом и писал письма. Вся левая половина стола была завалена запечатанными конвертами. Всего лежало одиннадцать конвертов. Адреса на двух конвертах были написаны китайскими иероглифами, четыре адреса — по-английски, один адрес — по-французски, два — по-арабски, один — по-немецки, и на последнем письме адрес был написан сверху по-русски, а внизу по-китайски. Аристарх, перестав писать двенадцатое письмо и откинувшись на спинку кресла, сказал мне:

— Дорогой мой друг, с банком № 11 произошло непредвиденное обстоятельство. Он не сможет прибыть в Харбин.

— Неужели он изменил нашему делу и скрылся с находящимися в его теле алмазами? — воскликнул я.

— Дорогой Платон, — с упреком сказал, открывая ящик письменного стола, Аристарх, — зачем всегда ожидать от людей только дурное? Человек-бриллиант № 11, офицер гусарского Александрийского полка Алексей Волынский был до самой своей смерти порядочным человеком,

— Так значит он умер? Когда и где?

— Он погиб сегодня в 6 часов и 3 минуты утра. Он получил вчера мою телеграмму, и в 3 часа ночи вылетел на самолете из Сингапура в Шанхай. В 6 часов и 3 минуты самолет упал в море в 200 километрах южнее Гонконга. Летчик, выбросившийся на парашюте, спасен проходящим французским пароходом „Портос“, а Алексей Волынский не успел выскочить из кабинки и утонул вместе с самолетом.

— Значит погибли и все алмазы, которые находились в мускулах его рук и ног?

— Погибли, — равнодушно сказал Аристарх, подавая мне радиogramму.

В радиogramме было написано по-английски следующее: „Южно-Китайское море. Борт парохода „Портос“. Харбин. Отель „Ориент“. Аристарху Непомнящих. Самолет, который должен был доставить сэра Алексея Волынского из Сингапура в Шанхай, сегодня в 6 часов 3 минуты, вследствие внезапной порчи обоих моторов, упал в Южно-Китайское море между Гонконгом и островом Формозой. Я спасся на парашюте и был подобран шедшим мимо пароходом французской компании „Массажери Меритин“, совершающим регулярные рейсы между Иокогамой и Марселем. Алексей Волынский утонул вместе с самолетом, не успев, очевидно, открыть дверь кабинки и выброситься с парашютом. Летчик Фред Джонсон“.

— Жаль, конечно, что с Алексеем Волынским погибло девятнадцать алмазов, стоимостью по меньшей мере в 90 тысяч фунтов стерлингов, — проговорил Аристарх Непомнящих, пряча в стол прочитанную мной радиogramму, — но еще больше мне жаль самого Алексея Волынского. Это был замечательный человек, голова которого стоила гораздо больше погибших с ним алмазов. Я хотел назначить его руководителем бюро спасения от несчастливой жизни. Его нелепая внезапная смерть разрушила все мои планы.

— Что же вы думаете теперь делать, учитель?

— Я послал уже боя на телеграф с телеграммой, адресованной в Сидней человеку-бриллианту № 13, Петру Кулигину.

— Да, но на какие средства мы будем существовать, пока он приедет из Австралии?

— Об этом можешь не беспокоиться, дорогой Платон, — собирая со стола конверты

сказал Аристарх. Мы должны немедленно же, начиная с завтрашнего дня, приступить к организации справочного агентства.

— Вы уверены, что это агентство будет пользоваться успехом?

— Не сомневаюсь, — улыбнулся учитель. — Во-первых, это будет совершенно особое, единственное в мире справочное агентство, в котором не будет шкапов, заваленных адресными книгами, энциклопедиями и путеводителями Кука. Наше агентство будет вне всякой конкуренции, потому что оно будет давать ответ немедленно и, кроме того, оно будет отвечать на те вопросы, на которые обычно и не пытаются отвечать существовавшие до сих пор справочные агентства. Цель и характер нашего агентства станет тебе ясна, если ты прочтешь следующее объявление, которое я попрошу тебя сегодня же отослать в редакцию «Харбинское Время». — И учитель подал мне лист бумаги, написанный его мелким, но четким почерком.

«Агентство „Молниеносный Ответ“ Аристарха Непомнящих.

Если вы безнадежно запутались в дебрях современной политики и дипломатии — приходите к нам, и вы немедленно получите исчерпывающий ответ.

Если вы ничего не понимаете в современной жизни — придите к нам.

Если вы хотите иметь правильное представление о прошлом, настоящем и будущем человечества — идите к нам.

Объективная и исчерпывающая информация о всех современных политических партиях, политических и государственных деятелях.

Если вы несчастны в личной жизни — зайдите в наше агентство и вы уйдете из него с веселым лицом. Даем справки по философии, истории, науке и технике всех времен и народов.

Адрес агентство сообщит в ближайшие дни.»

Когда я кончил читать, Аристарх Непомнящих сказал:

— Я попрошу тебя, Вавилонова и Ивана Сусанина как можно скорее подыскать в центре Харбина хороший дом для агентства.

— Да, но я хотел бы знать, как будет организована работа агентства?

— Изволь, я могу удовлетворить это законное любопытство: прошу задавать вопросы.

— Кто будет давать справки клиентам?

— Я, — ответил Аристарх, встав с кресла и расхаживая по номеру. — Если же я буду отсутствовать, то меня будет заменять Иван Сусанин.

— Да, но справится ли он?

— О, Иван Сусанин чрезвычайно одаренный человек, — останавливаясь, сказал Аристарх. — Это весьма талантливый и очень интересный человек. Уже не говорю о том, что он является прямым потомком костромского крестьянина Ивана Сусанина, который во время Смутного времени завел шайку поляков, намеревавшихся убить только что избранного на царство первого царя из династии Романовых — Михаила Романова. Но современный Иван Сусанин интересен не своей необычайной генеалогией и тем, что

он может любоваться видом своего героического предка в знаменитой опере Глинки «Жизнь за царя». Иван Сусанин — сам по себе уникал. Во-первых, он командовал знаменитой психической атакой каппелевцев, которая увековечена в советском фильме «Чапаев», а во-вторых, он один из величайших эрудитов нашей эпохи. Иван Сусанин — человек-энциклопедия, в голове которого содержится необозримое количество разнообразнейших сведений. Нет вопроса, на который он не дал бы немедленного и безукоризненно точного ответа.

С времени моей встречи с Аристархом Непомнящих на реке Анадыре, когда он был чукотским королем, после необычайных приключений, пережитых нами в верховьях реки Алдана, во время добычи алмазов на только ему одному во всем мире известных россыпях алмазов, после необычайного съезда, происходившего в колонии прокаженных около Якутска, перестал удивляться его поведению и словам, как бы необычайны они ни были. Но, когда он заговорил об Иване Сусанине, я, не отдавая себе отчета в том, что делаю, позволил себе иронически заметить:

— Учитель, не хотите ли вы утверждать, что знания Ивана Сусанина равны вашим? Не будет ли этот Сусанин напоминать того американского вундеркинда, которого изобразил в одной из своих новелл О.Генри, говоря, что он в любое время дня и ночи мог наизусть прочесть самый длинный стих из библии, знал, сколько костей в передней ноге у кошки, знал адреса всех футбольных игроков в Америке.

— Мой дорогой Платон! Скептицизм — вещь полезная, но я, по-моему, ни разу не давал повода к скептическому отношению ко мне. Вундеркинд, о котором писал О.Генри, имеет такое же отношение к Ивану Сусанину, как рыбная малявка к гренландскому киту. Тот же самый О.Генри, как мне помнится, изволил выразиться однажды, что есть только две вещи на свете, о которых можно говорить что угодно, не боясь быть уличенным во лжи и не боясь быть опровергнутым: это то, что ты видел во сне и что сказал тебе попугай, когда ты вместе с ним находился в комнате наедине. Все остальное на свете можно опровергнуть. Придет время, когда ты оценишь сам Ивана Сусанина. Что еще интересует тебя в связи с организацией агентства?

— Что буду делать я, и что Герасим Вавилонов?

— Вавилонов будет принимать клиентов, а ты просматривать поступающие в адрес агентства письма и сообщать их содержание мне или Ивану Сусанину. Есть еще вопросы?

— Нет.

— Тогда попроси Вавилонова и Сусанина, чтобы они сегодня же отправились на поиски помещения для нашего агентства. Да, я еще забыл, что нам будет необходима стенографистка.

Глава третья, в которой сообщается о первых клиентах, посетивших агентство „Молниеносный ответ“

Гробница адмирала Грейга найдена

После двух дней усиленных поисков, мы нашли удобный дом на 2-й Диагональной улице, рядом с первой и единственной в Манчжурии фабрикой халвы и рахат-лукума, принадлежавшей носатому и пронырливому греку Ипсиланти. Владелица дома, молодая гречанка, родственница Ипсиланти, после длительных переговоров уступила нам дом на три месяца за 150 долларов.

Дом имел семь комнат. В половине, выходившей на улицу, была оборудована приемная для клиентов, зал для ожидания и кабинет Аристарха Непомнящих; в одной половине, выходившей окнами в сад, были жилые комнаты, где разместились Аристарх, Иван Сусанин, я, Герасим Вавилонов и Лидия Соловьева, двадцатипятилетняя шатенка с некрасивым, но привлекательным лицом, удивительно напоминавшая Аленушку с картины Васнецова.

В понедельник, 12 июня 1928 г., в 9 часов двери агентства «Молниеносный ответ» гостеприимно распахнулись для всех ищущих выхода из тупика, в который их загнала жизнь.

Аристарх Непомнящих, как и всегда, оказался прав. Когда Вавилонов открыл дверь, на улице уже находилось около 40 клиентов. Тут были люди разных национальностей, разного пола и возраста, молодой англичанин, китайцы, евреи, армяне, русские.

Через несколько минут приемная и большой зал для ожидания были заполнены до отказа. Ровно в 9 часов Аристарх Непомнящих нажал кнопку звонка и сказал появившемуся Вавилонову:

— Кто первый?

— Шотландец Самуэль Грейг.

— Зовите его.

В кабинет вошел молодой англичанин, с русским переводчиком.

Самуэль Грейг был в сильном волнении. Он крепко пожал руку Аристарху и взволнованно начал объяснять что-то вполголоса по-английски переводчику.

— Что хочет сэр Грейг узнать? — спросил Аристарх.

— Я — потомок Самуэля Грейга, служившего адмиралом русского флота при императрице Екатерине II, победителя шведов и турок. По оставленному моим отцом завещанию я получаю 350 тысяч фунтов стерлингов только в том случае, если в течение 5 лет с его смерти найду, где в России находится могила адмирала Грейга и предъявлю нотариусу, составлявшему завещание, фотографию, на которой буду снят рядом с памятником. Прошло уже четыре года и семь месяцев. Я уже три раза был в Советской

России, но кладбища там все так разрушены, что я не смог установить, где находится гробница адмирала. Там трудно обнаружить даже живых, не только мертвых. Я даже не смог узнать, в каком городе она находится. Если в течение пяти оставшихся месяцев я не найду гробницы, то я лишусь трех с половиной миллионов рублей.

Аристарх властным жестом заставил его замолчать.

— Возьмите блок-нот и записывайте приметы и местонахождение гробницы, — сказал он переводчику. — Гробница находится в Эстонии, в соборной церкви Вышгорода. Она сделана из белого мрамора, имеет форму небольшого античного храма. На окаймленной лавровым венком круглой медной доске написано: «Самуэлю Грейгу, шотландцу, главнокомандующему Русским флотом. Родился в 1735 году. Умер в 1787 году. Его прославляют Архипелаг и Балтийское море и побережье, которое он оберегал от вражеского огня. Его восславляет слава его заслуг и неутешная скорбь великодушной Екатерины II.» В Эстонии памятники находятся в лучшем состоянии, и современный Самуэль Грейг получит свои 350 тысяч фунтов стерлингов.

Самуэль Грейг побледнел и обеими руками начал трясти руки Аристарха, от волнения издавая нечленораздельные звуки. Аристарх холодно сказал переводчику:

— Я прошу его увести. У меня нет времени.

— Он спрашивает, сколько вам должен заплатить? — спросил переводчик.

— Скажите сэру Самуэлю Грейгу, что с потомков людей, оказавших услуги России, я денег не беру. Я очень рад, что смог помочь ему исполнить волю его покойного отца.

Аристарх подошел к изумленному его ответом Самуэлю Грейгу и крепко пожал ему руку.

Когда Грейг с переводчиком ушел, Аристарх нажал кнопку и сказал явившемуся на звонок Вавилонову:

— Пусть войдет следующий.

Надежда Титова — жена яванского султана

После Самуэля Грейга, Вавилонов ввел в кабинет русского эмигранта, старика лет шестидесяти, одетого в старый поношенный костюм.

— Михаил Васильевич Титов — бывший судовладелец из Одессы. Хочет узнать адрес своей дочери Надежды Титовой, в 1920 году эмигрировавшей из Севастополя на пароходе «Рион» во Францию, но о которой с тех пор нет никаких сведений, — сказал Вавилонов.

Старик, по предложению Аристарха, сел в стоящее у письменного стола кресло.

— Вы эмигрировали из Крыма вместе со своей дочерью? — спросил Аристарх у Титова.

— Нет, я был в то время во Владивостоке.

— С кем выехала ваша дочь за границу?

— С теткой Клеопатрой Репиной.

— Какие попытки вы делали, чтобы разыскать свою дочь?

— Я обращался в различные дедективные агентства в Югославии, Болгарии, Франции, Германии и США. Каждое воскресенье семь лет публиковал объявления в «Лондонском Таймсе», в парижской «Матэн» и «Нью-Йорк Трибюн», я истратил на ее розыски 60 тысяч долларов — все мое состояние. Теперь я нищий, сказал старик. — Я живу из милости в семье знакомого офицера, который имеет ферму пятнистых оленей около станции Мулинь.

— Сколько лет было вашей дочери в 1922 году?

— 16 лет!

— Она была среднего роста, у нее золотистые волосы и небольшое родимое пятнышко на мочке правого уха? — задал вопрос Аристарх.

— Да, да, — возбужденно воскликнул старик, вскакивая с кресла. — У нее были золотистые волосы и небольшая родинка посредине мочки правого уха. Вы ее видели? Вы знаете, где она?

— Прошу вас, господин Титов, сядьте и успокойтесь, — мягко сказал Аристарх Непомнящих. — Ваша дочь, Надежда Михайловна Титова, живет в настоящее время на острове Яве. Она жена султана Джокджакарты Алан Сосрджоклого.

Старик сидел несколько мгновений молча, как бы пораженный громом, потом, задыхаясь, с трудом сказал:

— Сударь, я бы просил вас не издеваться над несчастным отцом и впадшим в бедность человеком. Это недостойно, сударь. Я давно уже вышел из того возраста, когда сказки Шехерезады принимают всерьез. Какие в наше время могут быть султаны? И как моя дочь, бывшая эмигрантка, могла бы стать женой султана, даже если бы и существовали султаны в наши прозаические дни?

— Тем не менее, я утверждаю, что она является женой яванского султана Джокджакарты, — повторил Аристарх, подавая побледневшему старику стакан с водой. — Выпейте воды, успокойтесь и выслушайте меня. Вы должны понять, что если вы вышли из возраста, когда верят сказкам Шехерезады, то я тоже вышел из возраста, когда любят рассказывать сказки Шехерезады.

— Сударь, но как же мне не волноваться? Единственная дочь. Умница, красавица, и вдруг замужем за каким то яванским султаном, который наверно имеет пятнадцать под-

данных, гуляющих среди бананов и кофейных деревьев в чем мать родила?

— Нет, вы ошибаетесь. Султан Джокджакарты властитель вассального государства, находящегося в части Явы, которая принадлежит Голландии — повелитель 15 миллионов человек. Он учился в Париже и увидел вашу дочь в ресторане, где она работала кассиршей, влюбился в нее, и она стала султаншей.

— Но это же фантастика! Этого же не может быть, — пробормотал Титов, вытирая выступивший на лбу холодный пот.

— Но тем не менее это так. Жизнь многих русских эмигрантов, покинувших Россию, увлекательнее, чем приключенческие романы прославленных романистов.

Аристарх вырвал листок и, быстро написав на нем несколько строк, подал его Титову.

— Вот название города на Яве, в котором находится дворец султана Джокджакарты. Отправьте сегодня по этому адресу радиogramму и вы получите ответ от своей дочери.

Совет владельцам китайской аптеки

Два китайца оказались содержателями аптеки. Они попросили совета, объявление какого содержания они могли бы поместить в распространенной китайской газете «Гунь-Бао», чтобы привлечь внимание клиентов и победить конкурентов.

— Дайте в «Гунь-Бао» рекламу такого содержания, — не задумываясь, отвечал Аристарх: — «Если английский доктор напишет вам рецепт по-голландски, то все равно мы приготовим вам лекарство по-китайски по наилучшему со времен Конфуция способу.»

Приседая и кланяясь бесчисленное количество раз, довольные китайцы исчезли в двери.

Что хотел знать Домбровский

— Господин Домбровский, владелец харбинского рекламного бюро, — впуская в дверь толстого пожилого мужчину, сообщил Герасим Вавилонов.

— Что вас интересует, господин Домбровский? — спросил Аристарх Непомнящих, после того, как могучие легкие прибывшего, имевшего не менее 100 килограммов веса, перестали издавать звуки, похожие на те, которые издает мотоцикл, обладающий упрямством кастильского мула.

— Я пишу «Историю рекламы с древнейших времен», и мне бы хотелось познакомиться с образцами реклам в Египте, Вавилоне и Риме. Была ли там реклама? Если нет, то почему, а если была, то покорнейше прошу ясновельможного пана дать соответствующие образчики рекламы древних.

— Вам нужно много примеров, или вы хотите только несколько, наиболее ярких? — спросил Аристарх, рассматривая свой перстень с великолепным александритом.

— Только несколько, — задышав, как спускающий пары локомотив, сказал Домбровский, — ровно столько, чтобы придать ученым характер моему труду.

— Записывайте, — сказал Непомнящих.

Домбровский с живостью, необычайной для его семипудовой комплекции, расстегнул сиреневый пиджак и вытащил из карманчика жилета записную книжку размером немного меньше гроссбуха.

— Как сообщает Геродот, — начал диктовать Аристарх, — финикийские купцы, подойдя на кораблях к берегу, населенному варварами, раскладывали большие костры, дым от которых извещал аборигенов страны о прибытии кораблей с товарами. В Ассирии и Вавилоне место, где продавался скот и рабы, огораживалось специальными знаками. В 3320 году до Рождества Христова один торговец слоновой костью в Мемфисе дал такую рекламу: „Дешев, очень дешев в этом году благородный рог йсполинов девственных лесов и долин Эхсхто. Идите ко мне, жители Мемфиса, подивитесь, полюбуйте и купите.“

Подождав, пока Домбровский кончил записывать объявление мемфисского купца, Аристарх продолжал:

— В берлинском музее на стенках саркофага египетской мумии содержится следующая надпись: „Рабинес Клеос отдыхает здесь от морских походов. Жизнь его была 87 весен и один период дождей: Он был двести первым, которого Ромос положил в сей искусно изготовленный саркофаг, и радость была скорбящим о покойном от таких роскошных похорон.“

Затем учитель продиктовал содержание рекламы о бое гладиаторов в помпейском цирке, написанное за месяц до гибели Помпеи: „Если позволит погода, гладиаторская труппа Эдила Светия Церти даст бой в Помпее“. „В августовские календы (30 июля) травля редкостных зверей. Над трибунами будет растянут опрыскиваемый тент...“

— Довольно, довольно, — сказал Домбровский. — И так все остальные составители учебников по рекламному делу лопнут от зависти. Я только бы хотел задать вопрос, чем вы видите прогресс в рекламе от времен Вавилона до сегодняшнего дня?

Аристарх поморщился, точно принял двойной порошок хинина.

— В вашем вопросе, господин Домбровский, много чувства самомнения, характерного для современных людей, неизвестно почему считающих, что наша эпоха самая культурная и цивилизованная. Современная реклама разделяет судьбу всего современного: много шума, крика, лжи и лицемерия, а если взглянуть в основу ее, тот же самый дым, которым финикийские купцы привлекали внимание варваров к привезенным ими безделушкам.

Сила древних — в богатстве чувств и в искренности, прорывающихся во всем. Разве объявление египетского торговца слоновой костью из Мемфиса, составленное свыше пяти тысяч лет назад, не напоминает „Песнь песней“ Соломона из Библии? Разве не звучит в нем восторг и преклонение перед многообразием мира, и разве в наше прозаическое, изолгавшееся время гробовщик положит в изготовленный им гроб такую вдохновенную рекламу-эпитафию, какую положил в гроб финикийского мореплавателя Рабинеса Клеоса египетский гробовщик Ромос?

Домбровский промычал в ответ что-то невразумительное и, поднявшись с кресла, запыхтев, тронулся к двери.

Почему зубные врачи должны опасаться ехать в американский город Саут.

В кабинет вошел толстый зубной врач Бабкин.

— Господин Непомнящих, — улыбаясь, проговорил Бабкин, отдуваясь и вытирая пот с лица, — у меня в Америке живет сестра. Я тоже хочу ехать в Америку и спросить у вас совета, в какой город мне лучше всего ехать. Где самые лучшие условия в Соединенных Штатах для дантистов?

— Американцы любят бокс, и в дантистах в Америке большая нужда во всех городах, — любезно сказал Аристарх. Ни в коем случае не вздумайте только поселиться в городе Саут.

— А почему нельзя зубным врачам ехать в город Саут? — снова заулыбался Бабкин. — Вы можете мне наверное сказать? Что?

— Могу, — усмехаясь, ответил Аристарх. В городе Саут до сих пор существует великолепный старинный закон: если зубной врач по ошибке удалит не тот зуб, пациент имеет право вызвать к зубному врачу местного кузнеца и удалить у зубного врача соответствующий зуб.

Лицо Бабкина приняло то выражение, какое было наверно у его клиентов, когда они устанавливали, что он вырвал им не тот зуб, который было нужно. Овладев собой, он заискивающе спросил:

— Вы, может быть, шутите, господин Непомнящих? Что?

— Нет. Я вам говорю правду. Напишите своей сестре письмо, и вы получите от нее наверняка те же самые сведения.

— Большое спасибо, господин Непомнящих. Вы великий человек, — проговорил Бабкин, пятясь к двери. — Такая культурная страна и такие странные законы. Нет, уж я лучше не поеду в этот Саут. Дай вам Бог счастья, господин Непомнящих, за мудрый совет. Разве я сказал неправду? А? Что?

Гимназист — охотник за человеческими черепами

Потом явилось новое, жаждущее ответа существо в виде длинноногого, веснушчатого гимназиста, питомца харбинской гимназии имени генерала Хорвата.

Гимназист заявил, что если Аристарх Непомнящих ему не поможет, он будет принужден сегодня же вечером застрелиться из имеющегося в его распоряжении духового ружья.

— А что такое с вами? — с участием поинтересовался Аристарх.

Гимназист, с трудом удерживая рыдания, сказал:

— Меня ненавидит учитель русского языка Абрикосов. Он мне уже пять лет подряд ставит двойки за все классные сочинения. Вчера он прочел четверостишие русского поэта о смерти, и когда я не смог назвать фамилию этого поэта, он поклялся, что сделает все зависящее, чтобы я не получил аттестат зрелости.

— Позвольте полюбопытствовать, сколько лет вы уже сидите в 8 классе?

— С этим годом — третий, — мрачно ответил гимназист.

— Да, положение у вас действительно неважное, — посочувствовал Аристарх. — Прочтите мне четверостишие, которое декламировал в классе Абрикосов.

Заикаясь от волнения, гимназист продекламировал:

Могила — не диван.

Когда не думаю, что лезть мне в чемодан,
Что там исчезнет все, и голова, и стан,
Поморщусь и вздрогну!!!

Кончив, гимназист со страхом вперил тоскующий взгляд в глаза Аристарха.

Аристарх, пошевелив губами, равнодушно сказал:

— Аттестат вы получите. Фамилия автора этого стихотворения Василий Пушкин.

Гимназист мгновенно просветлел, расцвел, как после первого поцелуя, полученного от гимназистки, которая со второго по седьмой класс гимназии неумолимо смеялась ему в глаза в ответ на все бесчисленные нежные взгляды, которые он на нее бросал.

— Господин Непомнящих, — радостно проговорил гимназист, сразу забыв о мучительном самоубийстве из духового ружья, — скажите, как вы относитесь к человеческим черепам?

— Смотря к каким, — уклончиво ответил Аристарх, открывая портсигар и беря папиросу.

— К черепам китайцев, например, — загадочно ответил гимназист.

— Китайские черепа бывают разные, — мягко возразил Аристарх. — От черепа Конфуция я бы, например, не отказался. Зачем вы играете роль сфинкса, а меня превраща-

ете в Эдипа. Я думаю, что мы скорее решим этот вопрос, если вы скажете, черепа каких китайцев имеются в вашей коллекции.

Гимназист почему-то смутился.

— Видите, господин Непомнящих, у меня нет в настоящий момент ни одного китайского черепа, но летом я буду обязательно их иметь.

— Откуда же вы их достанете? — запахивая шелковый халат, спросил с любопытством Аристарх. — Что, по окончании 8 классов гимназии вы думаете сделаться палачом города Харбина и заниматься коллекционированием черепов казненных вами китайцев?

— Нет, вы меня не поняли, — горячо воскликнул гимназист. — Я последователь исторического материализма Карла Маркса и противник капиталистических методов наказания людей.

— Вы убеждены, что последователи Карла Маркса отменяют институт палачей?

— Да, — убежденно сказал гимназист, — потому что наша теория рассматривает преступление, как результат несовершенства капиталистического строя.

— Ах, вот как, — саркастически проговорил Аристарх Непомнящих. — Но меня интересует все-таки, каким способом вы думаете достать череп китайца, который вы хотите благородно подарить мне за оказанную мной вашей личности незначительную услугу?

— В июле, с группой студентов Владимирского университета, — мужественным голосом проговорил гимназист, — я хочу поехать в район Триречья, населенного эмигрировавшими из России казаками. Студенты обещали меня взять с собой. Они каждое лето ездят в Триречье и сражаются с шайками хунхузов, разоряющих русские деревни. Убив хунхузов, они отрезают у них головы и готовят из них черепа. У моего знакомого студента Серафима Архангельского имеется уже 11 черепов хунхузов. Его комната, он живет на Монастырской улице, в доме № 82, напоминает комнату Миклухи-Маклая на Новой Гвинее. Везде черепа. Два черепа лежат на письменном столе, два стоят в шкафу, из одного сделан абажур. Остальные висят в углу на веревке, как сушеные грибы.

— Позвольте, дорогой мой, — возразил Непомнящих, — откуда вы решили, что комната охотника за черепами Серафима Архангельского напоминает комнату Миклухи-Маклая? Миклуха-Маклай ни у одного из туземцев Новой Гвинее не отрезал головы. Миклуху-Маклая людоеды Новой Гвинее прозвали «Человеком с луны» за то, что он не походил ни на одного из известных им европейцев: он был мужественен, правдив, честен и деликатен. Хотя Миклуха-Маклай жил среди людоедов, он не отрезал им голов, как ваш знакомый Серафим Архангельский. Когда в 1879 году Миклуха-Маклай снова посетил Новую Гвинею, он потребовал от доста-

вившего его на своем судне капитана-американца внесения следующего пункта в фрахтовой договор:

«Если мистер Маклай будет убит туземцами одного из островов, капитан Реббер обязуется не чинить никаких насилий над туземцами, под предлогом наказания.»

— Ну, тогда значит я ошибся, — сказал гимназист и с прежним азртом продолжал:

— Когда находишься в комнате Серафима один, и электрическая лампочка, находящаяся внутри черепа, светит слабо, то нужно иметь железные нервы, чтобы, взглянув на пустые глазницы и оскаленный рот черепа, из которых падают лучи света на письменный стол, продолжать читать «Капитал» Маркса.

— Как я вас теперь понял, — вежливым, но холодным тоном сказал учитель, — вы хотите отрубить голову у убитого вами хунхуза и подарить ее мне.

— Да, вы угадали, — кивнул головой гимназист. — Я хочу убить предводителя самой страшной шайки хунхузов, известного под именем «Тигра Сунгари» и подарить...

— Благодарю вас за добрые чувства ко мне, — уже совсем ледяным тоном сказал Аристарх, — но я думаю, что будет лучше, если вы из черепа «Тигра Сунгари» сделаете себе тоже абажур, и при свете исторгающихся из глаз лучей, будете штудировать первый том «Капитала». Я не настолько жесток, чтобы отнять из рук начинающего марксиста первый, добытый им собственноручно череп.

Не глядя больше на гимназиста, учитель нажал кнопку звонка и сказал появившемуся Вавилову:

— Зовите следующего.

Что узнали об американских законах 15 девушек

Герасим Вавилов ввел сразу пятнадцать девушек не то гимназисток, не то слушательниц высших женских курсов, созданных бюро русских эмигрантов в Харбине.

Эти милые жизнерадостные создания, как сообщил Вавилов, изучили на коммерческих

курсах Яроцкого английский язык и стенографию, а также имели страстное желание ехать в Америку. Они встали полукругом вдоль стен и задали бесчисленное количество вопросов, которые сводились в основном к одному: как нужно молодой девушке вести себя в Америке, чтобы не скомпрометировать себя в глазах американского общества.

Когда девушки устали задавать вопросы, и молча уставились голубыми, серыми и карими глазками в Аристарха Непомнящих, смотря на него так, как будто он был верховный жрец египетского бога Ра и от него зависело принести ли их в жертву богу, он прочел им увлекательную импровизированную лекцию о правилах и ограничениях поведения в различных штатах великой заокеанской республики.

Из бесчисленного количества любопытных фактов, приведенных учителем, я смог запомнить только следующие, которые считаю не лишним привести к сведению тех, кто рано или поздно собираются ехать в Америку.

Вот они.

... В городе Хейтроп (Мэриленд) поцелуй не должен длиться больше секунды. За нарушение — крупный штраф.

В городе Каризозо мужчинам и женщинам запрещается показываться на улице небритыми. В штате Кенетикут расстояние между мужчиной и женщиной, сидящих рядом на скамье в парке, не должно быть меньше 8 сантиметров.

В штате Колорадо запрещено охотиться на уток с самолетов.

В городе Мейкоп мужчинам разрешается обнимать женщину только на «законном основании».

В Лос-Анжелосе есть закон, разрешающий женщинам плакать в суде.

В городе Дейдвал (Алабама) под угрозой штрафа и тюремного заключения, верующим запрещается спать во время богослужения; в штате Месачузете законом запрещается пекарям спать на полках, предназначенных для выпеченного хлеба.

В штате Северная Каролина строжайше воспрещается пить в поездах воду или молоко.

Глава четвертая, из которой становится ясно, с какой целью Аристарх Непомнящих создал агентство

Дверь за последним посетителем агентства закрылась только в 9 часов 20 минут вечера, а в начале десятого мы все собрались в столовой отдать должное вкусным кушаньям и закускам, изготовленными китайцем повара, под наблюдением Лидии Соловьевой.

— Ну, дорогие друзья, — поднимая рюмку с водкой и улыбаясь, сказал Аристарх, — поздравляю вас всех с успешным нача-

лом работы нашего агентства. Успех, как видите сами, превосходит самые розовые надежды. — Герасим, сколько посетителей было сегодня?

— Восемьдесят семь, учитель, — чокаясь с Иваном Сусаниным, ответил Вавилов.

— Сколько денег поступило в кассу?

— 32 американских доллара, 27 иен, 17 франков, 193 китайских доллара.

— Как видите, друзья, сказал Аристарх, — финансовая проблема разрешена нами успешно. Наше агентство, как я и предполагал, имеет блестящее будущее, и мы можем жить в Манчжурии, не думая о куске хлеба до прибытия из Австралии человека-бриллианта № 17.

— Что это за человек-бриллиант, учитель? — с любопытством спросила Лидия Соловьева, — и почему вы его называете человеком-бриллиантом?

— Терпение, терпение, дорогая Лидия, — ласково взглянув на смотревшую на него во все глаза стенографистку, улыбнулся Аристарх. — Не даром вы носите имя жителей древней страны в малой Азии. Вы так же любознательны, как древние лидийцы. Придет время, и я вас познакомлю с человеком-бриллиантом. И вы тогда сможете узнать от него лично, почему он носит такое странное название. А пока говорить об этом еще не время.

Лидия Соловьева, смутившись, занялась разговором с поваром-китайцем, принесшим блюдо дымящихся пельменей. Учитель же продолжал свой тост:

— Дорогие друзья, агентство «Молниеносный ответ» создано не только потому, что мы, в силу обстоятельств, оказались временно без денег, и я вовсе не думаю закрывать его после приезда из Сиднея человека-бриллианта, с появлением которого мы окажемся обладателями крупных средств. Я, вообще, богатый человек. Как сказали бы американцы, я стою несколько миллионов долларов. Средств у меня и у моих друзей более чем достаточно. Но агентство „Молниеносный ответ“ моя давнишняя мечта, и оно будет работать во всех странах, всегда и всюду, куда бы нас не забросила судьба. Мы, русские эмигранты — люди без родины, мы окружены равнодушием одних и ненавистью других, и всегда должны быть готовы к любым неожиданным ударам судьбы. Помните наивную песню русских матросов:

По морям, по морям,
Сегодня здесь, а завтра там!

Уже долгие годы, подобно утлым челнокам, мы мчимся по бурному морю современной жизни навстречу темному неизвестному будущему. Мы много пережили, еще больше нам придется пережить. Мы во власти Провидения, а Провидение, как и политические идеи не имеет гуманного сердца. Но где бы мы ни оказались — в Азии, Европе, Америке, Австралии или на Огненной Земле, везде мы будем немедленно открывать наше агентство. Итак, друзья, выпьем рюмку превосходной водки „незаменимой“, изготовленной на заводе вдовы И. С. Суслова за то, чтобы наше агентство «Молниеносный ответ» стало бы незаменимым другом для всех, кто перестал ориен-

тироваться в той страшной и лживой жизни, которой живет современное человечество.

Информационное агентство такого типа, как наше — это превосходный способ внедрения новых взглядов и идей, которые могут спасти человечество от гибели, к которой его неудержимо толкают царящие в нем лживые идеи.

— Но я не совсем понимаю, — ставя пустую рюмку на стол, сказал Вавилонов, — как можно спасти человечество, давая ответы на нелепые вопросы глупцов и чудаков, являющихся в наше агентство?

— Это совершенно неизбежное явление, Герасим, — спокойно возразил Вавилонову Иван Сусанин. — Чудаки и глупцы всегда и всюду являются первыми. Кроме того, глупцов и чудаков на свете больше, чем умных людей, и поэтому с ними нужно считаться. Завоевать уважение среди чудаков и глупцов не менее важно, чем получить признание со стороны умных людей.

— Bravo, bravo, Сусанин, — сказал учитель, лукаво подмигнув глазом звонко захохотавшей Лидии. — К глупцам и чудакам нужно относиться бережнее, чем к так называемому среднему нормальному человеку. Глупцы, чудаки и фанатики, руководимые умными честолюбцами или же фанатиками, — вот движущая сила истории до сих пор. Если бы мир зависел от среднего человека, он превратился бы в стоячее болото, наполненное тиной. Нормальный человек — эгоист, не способный ни на зло, ни на добро, это скучное и злое существо.

— Но мне, все-таки, не ясна цель нашего агентства, — проговорил Вавилонов. — Может быть, я такой же глупец, как наши сегодняшние клиенты.

— Не все наши сегодняшние клиенты глупцы и чудаки, какими кажутся на первый взгляд, — сказал Аристарх. — Это просто исковерканные жизнью люди, и первый день работы нашего агентства вовсе не прошел бесполезно, как это может показаться на первый взгляд.

Аристарх вышел из-за стола и, по своей обычной привычке, начал ходить по комнате.

— Самуэль Грейг ушел из агентства богатым человеком, и он никогда не забудет человека, который сделал его миллионером, не взяв с него ни одного пенса. Его сердце будет более открыто для добра, чем до сих пор. Михаил Титов ушел из агентства счастливым, и мы всегда можем рассчитывать на помощь со стороны яванского султана, так же, как и со стороны Самуэля Грейга. Дюровский несомненно задумался над сделанной мной оценкой нашей эпохи. Жители города Саута спасены от плохого дантиста. Советы, данные 15 девушкам, желающим ехать в Америку, спасут их от многих неприятностей, которые могли бы быть. А сколько десятков наших клиентов вышли со спокойным сердцем и с улыбкой на лице из

дверей агентства? Бесполезен был только разговор с этим полу-дураком гимназистом, штудирующим «Капитал» Маркса. А полу-дурак всегда глупее дурака и опаснее для окружающих. Добро, оказанное всем нашим остальным 86 клиентам — это могучая сила. Мир нуждается в большем количестве добра, чем он получал до сих пор. Добро нужно оказывать всегда и всем: и чудакам, и глупцам, и умным, и добрым, и злым. Все люди живут и питаются только надеждой, что жизнь можно построить на основе добра и справедливости, а не зла и лицемерия, как сейчас. И жизнь в наше время страшна именно тем, что люди теряют эту надежду с каждым днем все больше и больше. Добро порождает

добро. Нужно реабилитировать ценность доброго дела в глазах людей. Важнейшая задача, которая стоит перед философами наших дней — это обосновать идею добра, как могучий фактор человеческих отношений, более сильный, чем господствующие философские системы, видящие рычаг человеческой истории в зле и ненависти. Теперь, Герасим, понятна тебе цель создания нашего агентства?

— Да, учитель, — вскочив, как школьник из-за парты, сконфужено улыбаясь, ответил Герасим Вавилонов.

— Ну вот и прекрасно, — сказал, проведя рукой по волосам, Аристарх и, пожелав нам приятно провести время, удалился из столовой в свой кабинет.



М. О. КУБЕ

В ГОСТЯХ

у „дикарей“

(Из записной книжки гардемарина)

Безукоризненной колонной вытянулся на рейде — тогда еще Христиании, а не Осло — «Отдельный Гардемаринский Отряд»: «Цесаревич» — участник Порт-Артурской обороны, несколько младшая «Слава» и наш «Богатырь» — тоже ветеран Руско-Японской войны. Впервые за всю свою историю норвежцы созерцают в этих водах Андреевский флаг, с которым для их соседей — шведов связано много жгучих воспоминаний о проигранных боях: Гангут, Эзель, Гогланд, Выборг, Ревель, Роченсальм и прочие, и прочие...

С момента отдачи якоря вокруг Отряда снуют пароходики, катера, изящные парусные яхты, простые рыбацкие шлюпки, переполненные желающими поближе взглянуть на этих невиданных «москвитов». Но, увы, все просьбы о посещении приходится отклонять, приглашая пожаловать в воскресенье, после обеда.

Но всему приходит конец — в том числе и неделе — и в воскресенье все эти мелкие посудины уже не кружатся, а густо облепляют трапы всех трех кораблей, наводняя их палубы потоком любопытных всех возрастов и званий.

Не обладая еще той богатой практикой, которая выработалась у всех к концу плавания, вахтенный начальник все-же, руководствуясь каким-то «шестым чувством», быстро определяет социальное положение посетителей, прикомандировав к каждой группе то ра-

сторопного унтер-офицера, то кого-нибудь из «мобилизованных» на этот предмет гардемарин. Медленно продвигается наша «очередь»... Моему предшественнику достается первая половина многочисленного семейства: папаша — крупный норвежец с солидным брюшком и золотой цепочкой с брелоками на оном — тип ибсеновского арматора из «Столпов общества» или «Врага народа», не менее дорослая мамаша в праздничном «черном шелковом» и славный мальчишка лет 11-12. Моему руководству вверяются две дочери — прелестные (как 99 проц. норвежских барышень), свежие блондинки, одна лет 20-ти, другая — подросток 16-17-ти.

Начинаем осмотр. Бойко болтаем по-немецки, которым обе владеют не вполне безупречно, что приводит иногда к забавным, оживляющим разговор недоразумениям. Добросовестно осматриваем и «страшные» пушки в башнях и на палубе, любуемся видом рейда с верхнего мостика, заглядываем и в радиорубку, и в камбуз... Все так интересно!

Изредка сестры перекидываются отдельными фразами по-английски, причем младшая начинает заниматься довольно откровенной критикой моей скромной особы, начиная с фуражки и мундира и кончая физиономией...

— Китти, ради Бога, осторожнее!.. Он, может быть, говорит по-английски... — испуганно шепчет сестра, дергая ее за рукав.

— Он? — с великолепным апломбом отзывается Китти: — слава Богу, если такой дикарь знает кое-как один иностранный язык!..

— Китти, все же...

Но на эту сорви-голову управы нет. Хорошенький чертенок носится, победоносно размахивая своей густой и длинной косой, по трапам и мостикам, продолжая — в пику сестре — все более и более бесцеремонные замечания.

«Выдерживаю марку»... Как ни в чем не бывало, продолжаю — по-немецки — свою роль гида, давая все желаемые технические объяснения. Наконец, вынырнув из «недр», оказываемся снова на залитой мягким октябрьским солнцем палубе и направляемся к трапу, где нас уже поджидает семейство. Папаша несколько раз нерешительно лезет в карман, побрякивая мелочью. Но затем, смутно учуяв, что, пожалуй, «чаевые» здесь окажутся не совсем уместными, ограничивается всяческими изъяснениями благодар-

ности, сопровождаемыми рукопожатиями, остающимися в памяти до самого вечера. Когда «иностранцы» самым корректным образом прикладываются к ручке его супруги, на лице его можно прочесть: «Хорош бы я был, дав по кроне на-чай!!...».

Очередь доходит и до «чертенка». И тут я не могу удержаться. Вспоминая самую безукоризненную „pronunciation“, внушавшуюся мне когда-то тетужкой на классическом „King's English“, произношу, пожимая протянутую ручку:

— Надеюсь, мисс Китти, что у вас не останется слишком плохого воспоминания о дне, проведенном в гостях у дикарей...

Отозванный для встречи новых гостей, я вижу только широко раскрытые в ужасе глаза старшей сестры, превратившуюся в вопросительный знак добродушную физиономию папаша и исчезающую за его спиной пунцовую, полувиноватую, полусмеющуюся рожицу «чертенка»...

ФИЛИПП БОРИСОВ

ИЗ ЦИКЛА „ВЕТЕР СКИФИИ“

Мы же речем: потеряли новолюбцы существо Божие испадением от истинного Господа, Святаго и Животворящего Духа. По Дионисию: коли уж истины испали, тут и сущаго отверглися.

Житие протопопы Аввакума, им самим написанное.

Думаешь, сгорю в бесовском смраде,
Душу, думаешь, мою похитит бес?
Нет, не на торжественном параде, —
Я уйду спастись в темный лес.

Там, в лесу, убогая пещера,
В той пещере — камень гробовой,
Ангел там стоит сторожевой,
Пропуском ко гробу — только вера.

А под камнем — мертвый русский Спас,
У пещеры Царь Давыд играет,
Господа псалмами пробуждает,
И зарей горит лесной иконостас...

Льется тонкий звон заброшенной церквуши,
Царь Давыд поет: — „Восстань, Господь
Внемли же, обретший духа уши, [Земли!“
Поступи восставшего внемли!

Жгли в колодах, засыпали в срубах
Мерзлую землю души христиан, —
РадуетсЯ Ад в победных трубах,
Поборая рать никониан!

Допросились до кровавой воли,
Ум призвал на царство Зверя Сил, —
И Давыд поет о русской доле,
Чтобы Спас Руси прощенье испросил.

И восстал и Он. Мы узрим, братцы,
Нашего Иисуса — мужика...
Рассыпаются царицы святцы,
Ирмосы поет могучая река...

Гуманизм Федора Достоевского

(Настоящая статья представляет собою фрагмент книги того же названия, подготовленной автором к изданию).

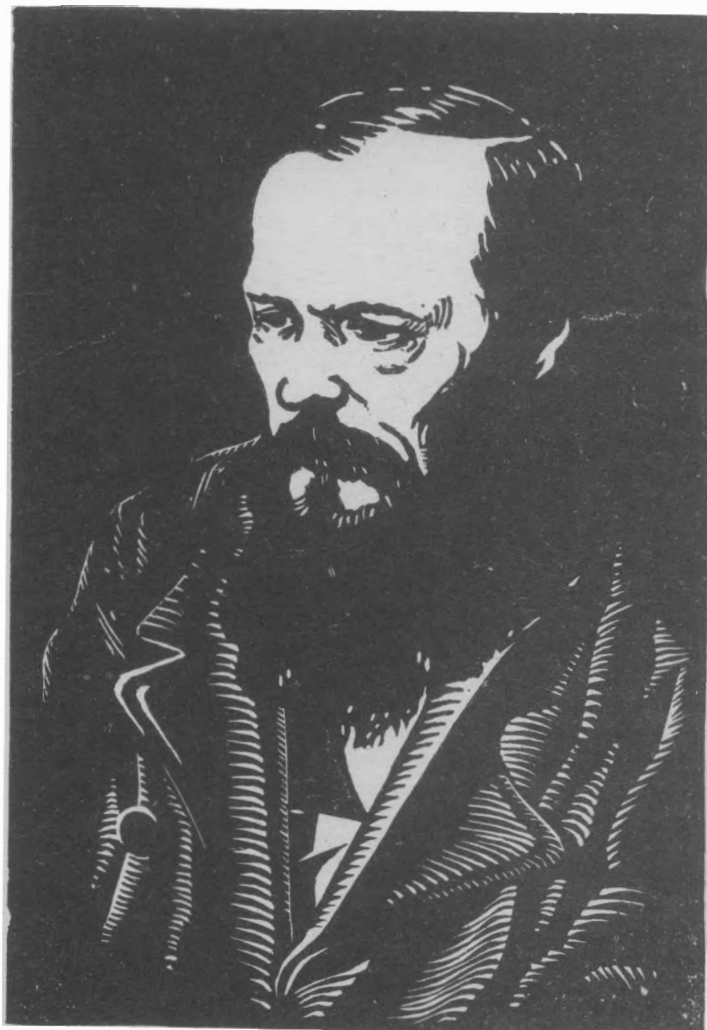
Первое выступление Достоевского на литературном поприще было отмечено событием, не получившим до сих пор достаточного объяснения в критике. Подавляющее большинство биографов до наших дней видят в этом событии нечто, относящееся исключительно к частной жизни писателя, но ничего не прибавляющее к нашим знаниям о его общественных воззрениях. Как это ни странно, но исследователи Достоевского расходятся в данном случае... с самим Достоевским, оставившим совершенно ясные, хотя немногочисленные и малоизвестные, указания на то, что в его глазах это событие имело именно общественный, идейный смысл и никакой другой.

Речь идет о нашуемшей в свое время „соре“ молодого Достоевского с кружком В. Г. Белинского и с самим Белинским, которому Достоевский был обязан многим и, в частности, в какой-то мере, даже первыми литературными успехами.

Напомним основные факты биографии писателя, относящиеся к тому моменту.

Ровно сто лет тому назад, в 1846 г., Достоевский принес Григоровичу только что оконченную рукопись своего первого произведения — повести „Бедные люди“. Григорович, в свою очередь, познакомил с ней Некрасова, подбиравшего в то время материалы для затаенного им „Петербургского сборника“, а затем Белинского. Прочтя рукопись, Белинский, со свойственной ему горячностью, потребовал, чтобы к нему „тотчас же“ привели ее автора, и когда Достоевский предстал перед великим критиком, тот, как сообщают современники, „восторженно“, „с горящими глазами“ воскликнул:

„Да вы понимаете-ль сами-то, что вы такое написали? Вы только непосредственным чувством, как художник, это могли описать. Но осмыслили вы сами-то всю эту страшную правду, на которую



вы нам указали? Не может быть, чтобы вы в 20 лет уже это понимали...“

Так родилась дружба общепризнанного литературного корифея того времени „неистового Виссариона“, находившегося на вершине славы, и молодого Достоевского, делавшего первые шаги в литературе. Одного слова Белинского было достаточно, чтобы рукопись „Бедных людей“ была принята Некрасовым и напечатана в „Петербургском сборнике“ на первом месте, рядом

с рассказами Тургенева и кн. Одоевского, со стихами Ап. Майкова и др. Большие литературные достоинства „Бедных людей“ и появившаяся вслед за тем критическая статья Белинского, полная восторженных похвал, довершили дело: Достоевский сразу обретает славу, какая редко выпадает на долю молодого литератора. Но „нистовый Виссарион“ не успокаивается на этом. Он вводит Достоевского в избранный литературный кружок, главой которого является он сам, всячески опекает молодого литератора и всеми силами стремится приобщить его к своим идеям. Сам нищий литературный поденщик, он заботится о материальном положении Достоевского, проявляет постоянный интерес к его новым работам, предостерегает его от поспешности и от ошибок.

И вот, не проходит даже года, как весь литературный Петербург начинает говорить о том, что Достоевский вышел из кружка Белинского, порвал с ним и дал слово никогда туда не возвращаться. Хотя и Достоевский и Белинский сами хранят глубокое молчание, тем не менее, слухи вскоре подтверждаются: бывшие друзья стали врагами, между ними вдруг легла темная пропасть, которой более не суждено было исчезнуть вплоть до наступившей вскоре смерти В. Белинского.

Подходя к этому моменту, биографы Достоевского или опускают занавес, или, проронив несколько слов о „темных сторонах“ души великого писателя, о его „заносчивости“, „болезненном самолюбии“ и „мнительности“, спешат дальше — к описанию жизни Достоевского на каторге, куда он был сослан вскоре после этого разрыва. Огромное обаяние личности Белинского, ореол „мученичества“, окружающий его посмертный образ — с одной стороны, а с другой — прочно установившееся в нашей критике мнение о Достоевском, как о человеке неуравновешенном, тяжелом — вот что заставляет критиков предполагать, что роль Достоевского в описанном событии была во всяком случае, не такова, в какой его хотелось бы им видеть.

А между тем, пожалуй, ни одно событие из первых лет литературной деятельности Достоевского не должно было бы привлекать такого объективного вдумчивого внимания, как это. Ибо даже и беглое знакомство с творчеством великого писателя наводит нас на мысль, что именно к этому моменту относятся первые признаки того глубокого и длительного духовного кризиса, какой предшествовал рождению оригинальной философии Федора Достоевского. Именно тогда, после провала «Двойника» и повести «Хозяйка», мучительно воспринятого Достоевским, для автора их начинается пора творческих поисков и общей «переоценки ценностей», завершающейся переходом от тематики «Бедных людей» к тематике «Записок из подполья», столь мало похожих друг на друга, словно они не были написаны одним пером.

Уже много лет спустя, в расцвете своей славы Достоевский в письме к Страхову обронил фразу, содержащую в себе ключ к пониманию его

отношений с В. Белинским. «Я обругал Белинского, — писал он, — более как я в л е н и е р у с с к о й ж и з н и, нежели как лицо» (курсив наш — Н.В.). В другом письме он прямо говорит о своем глубоком уважении к Белинскому, как к человеку «благородному», хотя идейные позиции последнего продолжают вызывать у Достоевского отталкивание до самого конца. Можно ли сомневаться после этого в причинах «ссоры» Достоевского с Белинским? Можно ли поверить в то, что их разлад вызывался только личными причинами, а не являлся следствием глубокой разницы их убеждений?

Разумеется, нельзя.

Подобно многим современникам, Достоевский начал с увлечения модными идеями рационализма и связанного с ним плоского «гуманизма», занесенного в Россию с Запада и быстро распространившимся в русском обществе. Однако, это увлечение было очень кратковременным и имело для великого художника только тот смысл, что позволило ему пристальнее разглядеть опасность, тающуюся в учении людей, которые, отвергнув Бога, уже тогда мечтали об устройстве человеческого счастья исключительно на основах разума. Достоевский был первым русским писателем, увидевшим еще в то время в «гуманистическом» учении рационализма страшную угрозу человеку и его свободе. И, увидев, отдал борьбе с ним все силы своего необычайного литературного таланта.

Не «западники» и «славянофилы» выражали в середине прошлого столетия два полярно-противоположных направления русской мысли, ибо их борьба шла все же на поверхности, не затрагивая самых глубин духа. Настоящая же борьба протекала именно в глубинах духа, и в глубинах духа ее выражали Достоевский и то умственное направление, которое, в конце-концов, исходило от Белинского, как логическое завершение его идей, все-равно — желал он сам этого или не желал. Известно, что Белинский не был сам ни атеистом, ни материалистом. Он исповедывал идеализм немецких школ, увлекался Фихте, Шеллингом и Гегелем. Он был «гуманистом», преисполненным участия к «униженным и оскорбленным», как были преисполнены им в западной Европе Диккенс, Жорж Занд и Гюго. Но, подобно тому, как из диалектики идеалиста Гегеля, «поставленной с головы на ноги», родился марксистский материализм с его идеей классовой борьбы и нечеловеческого коллектива, так из гуманизма демократов середины прошлого столетия родился антихристианский, революционный «гуманизм» нашей эпохи, как скоро русская демократия пришла к забвению всех высших духовных идеалов, которые первоначально были неразрывно связаны с идеалом социальной справедливости. Мы охотно согласимся с тем, что проживи Белинский еще двадцать лет, хотя бы до того только момента, когда Чернышевский в первый раз заговорил о топоре, как о лучшем аргументе «гуманистов», он отшатнулся бы от своего «ученика», совершенно так

же, как представитель «отверженных» и автор «Труженников моря». Виктор Гюго, с ужасом отвернувшись от французской революции в романе «93-й год», написанном под свежим впечатлением Парижской коммуны, автор «Давида Копперфильда», Диккенс, отвернувшись от нее в «Повести о двух городах». Но это рассуждение не является опровержением той связи, на которую мы выше указали.

Понадобился гений Достоевского, чтобы за 80 лет до нас предвидеть эту связь и предугадать кризис сознания, свидетелями которого мы сейчас являемся и который все ясней определяется, как кризис так называемых «передовых» идей прошлого и начала нынешнего века. Достоевский был единственным писателем, запечатлевшим в поразительных деталях трагедию нашего столетия задолго до того, как она наступила. Сквозь мглу семи-восьми десятилетий он прозревал первые признаки того страшного нравственного одичания, которое охватит человечество, как результат глубокой внутренней опустошенности обездушивания человека философией рационализма и плоского «гуманизма». И, прозревая их опасность, он противопоставил им свой гуманизм, свое учение, где вера в человека и любовь к нему подняты на такую высоту, какой они могут достигнуть лишь в учении христианина.

* * *

Именно человек, его личность, его судьба составляли основную тему Достоевского на протяжении всего его творческого пути. При этом тема человека всегда воспринималась Достоевским в неразрывной связи с темой о Боге, ибо, как указывает Н. Бердяев, «решить вопрос о человеке» — значило для Достоевского «решить вопрос и о Боге».*)

В отличие от своих современников, Достоевский выступил в защиту абсолютной, а не относительной ценности человека. С точки зрения Достоевского, правильное понимание человека может быть достигнуто лишь через признание его мистического происхождения и его божественной природы. Человек есть образ и подобие Божие, и как таковая, его личность неприкосновенна и священна. Это положение является краеугольным камнем всего философского учения Достоевского. Отсюда — сильная религиозная струя, окрашивающая творчество великого писателя с «Записок из подполья», созданных тотчас же после возвращения с каторги, до «Братьев Карамазовых», где тема о человеке и о Боге разрешается с необычайной философской глубиной. Гуманизм Федора Достоев-

ского — гуманизм религиозный, христианский, и это коренным образом отличает его от рационалистических учений о природе человека, возникших на западе в век Просвещения и проникших в XIX столетии в русскую литературу и, в особенности, — в публицистику.

Впервые эти мысли были высказаны Достоевским в романе «Записки из подполья» (1864 г.), составляющем, как уже сказано, рубеж в творчестве великого писателя. Можно утверждать, что в «Записках из подполья» заключены зерна всех основных идей, волновавших Достоевского во второй, наиболее значительный и плодотворный период его деятельности. Все, что написано им после 1863-64 гг. в течение последующих двадцати лет — так или иначе вышло от «Записок из подполья». *)

В центре этого произведения, написанного от первого лица, стоит образ человека, ушедшего в глубину себя и ведущего уединенный «подпольный» образ жизни. В течение многих лет он ведет наблюдение над самим собой, над историей, над обществом и излагает эти наблюдения читателю. Поэтому главный интерес романа состоит не в фабуле, а рассуждениях героя, в уста которого Достоевский вкладывает многое от собственных идей, хотя, конечно, полное отождествление автора «Записок из подполья» с их героем было бы ошибочным.

Многолетние наблюдения и размышления приводят человека из подполья к глубокому убеждению, что человек, взятый во всей сложности своей природы, — есть существо мистическое, иррациональное и что идеал рациональных утопистов о предопределении разумом истории не отвечает этой сложности природы человека. Самая неподвижность идеала рационалистов, как «венца истории», состоит в противоречии с коренным началом человеческой природы — актом творчества. Поэтому, будь этот идеал осуществлен (чего, в свою очередь, можно достичь только путем насилия), он неизбежно поведет к сужению духовного начала в человеке, к нивелировке его личности. Одним из самых сильных мест романа является та часть его, где герой, опровергая идеал рациональных утопистов, утверждает, что самым дорогим для человека является его свобода, его индивидуальность, которые он ставит выше даже доводов рассудка, если последний грозит их уничтожить.

«Рассудок, господа, есть вещь хорошая, это бесспорно, — восклицает человек подполья, — но рассудок есть только рассудок и удовлетворяет только рассудочной способности человека, а хотение есть проявление всей человеческой жизни... Ведь я, например, совершенно естественно хочу жить для того, чтобы удовлетворять всей моей способности жить, а не для того, чтоб удовлетворить одной только моей рассудочной способности, то-есть какой-нибудь одной двадцатой

*) Н. Бердяев. Миросозерцание Достоевского. Прага, 1923. Стр. 35. Ниже мы не раз цитируем эту книгу проф. Бердяева. Как известно, ныне ее автор вошел в ряды сотрудников парижских «Русских Новостей», ориентация которых слишком хорошо известна, чтобы о ней много говорить. Однако, это обстоятельство ничуть не умаляет в наших глазах достоинства книги Н. Бердяева о Достоевском, ни одна строчка которой не могла бы быть помещена без изменений на страницах «Русских Новостей».

*) Вот главные из этих произведений: «Преступление и наказание» (1865), «Идиот» (1868), «Бесы» (1870), «Подросток» (1876), «Дневник писателя» (1878-1881), «Братья Карамазовы» (1878-1880).

доли всей моей способности жить». «Повторяю вам в сотый раз, есть один только случай, только один, когда человек может нарочно, сознательно пожелать себе даже вредного, глупейшего, а именно: чтоб иметь право пожелать себе даже и глупейшего и не быть связанным обязанностью желать одного только умного. Ведь это глупейшее, ведь этот свой каприз и в самом деле, господа, может быть всего выгоднее для нашего брата из всего, что есть на земле, особенно в иных случаях. А в частности может быть выгоднее всех выгод даже и в таком случае, если приносит нам явный вред и противоречит самым здравым заключениям нашего рассудка о выгодах, — потому что во всяком случае сохраняет нам самое главное и самое дорогое, то-есть нашу личность и нашу индивидуальность». «Человек любит созидать и дороги прокладывать, это бесспорно. Но отчего же тоже любит разрушение и хаос? Вот это скажите-ка!.. Не потому ли, может быть, он так любит разрушение и хаос (ведь это, бесспорно, что он иногда очень любит, это уж так), что сам инстинктивно боится достигнуть цели и довершить создаваемое здание?.. Кто знает (поручиться нельзя), может быть, что и вся цель на земле, к которой человечество стремится, только и заключается в одной этой непрерывности процесса достижения; иначе сказать — самой жизни, а не собственно в цели, которая, разумеется, должна быть не иное что, как дважды два четыре, то-есть формула, а, ведь, дважды два четыре есть уже не жизнь, господа, а начало смерти». „Вы верите в хрустальное здание, на веки нерушимое... Ну, а я, может быть, потому-то и боюсь этого здания, что оно хрустальное и на веки нерушимое... Я не приму за венец желаний моих — капитальный дом с квартирами для бедных жильцов по контракту на тысячу лет и, на всякий случай, с зубным врачом Вагенгеймом на вывеске. Уничтожьте мои желания, сотрите мои идеалы, покажите мне что-нибудь лучше — и я за вами пойду... А покамест я еще живу и желаю, — да отсохни у меня рука, коль я хоть один кирпичик на такой капитальный дом принесу!“ („Записки из подполья“, гл. VП-X. Курсив всюду наш — Н.В.).

Эти строки — один из самых страстных панегириков человеку и его свободе во всей мировой литературе. Едкая, уничтожающая критика рационализма и плоского утопического „гуманизма“, вложенная в уста человека из подполья, есть исходный пункт защиты Достоевским абсолютного достоинства человеческой личности. Отсюда начинается развитие великим мыслителем его собственной гуманистической концепции. Показав несостоятельность социально-утопического идеала, Достоевский выступает с проповедью своего христианского идеала, утверждая, что лишь в нем вполне откроется значение человека и будет достигнута свобода его личности. Комментируя эти мысли великого писателя, выдающийся исследователь его творчества В. Розанов говорит следующее:

«В праве личность есть только фикция, необходимый центр, к которому относятся договорные обязательства, имущественная принадлежность и пр.; значение ее не выяснено и не обосновано здесь... В политической экономии личность совершенно исчезает: там есть только рабочая сила, к которой лицо есть совершенно ненужный придаток. Таким образом, путем знания, путем науки недостижимо восстановление личности в истории: мы можем ее уважать, но это не есть необходимость, мы можем ею и пренебрегать, — и это в особенности, когда она дурна, порочна. Но уже самое введение этих условий подкашивает абсолютность личности: для греков дурны были все варвары, для римлян все не граждане, для католиков — еретики, для гуманистов — все обскуранты, для людей 93-го года — все консерваторы.*) Этой обусловленности и с ней колебаниям, сомнениям кладет грань религия: личность всякая, которая жива, абсолютна как образ Божий и неприкосновенна.**)

Идея абсолютного значения человека с особой философской глубиной и художественной выразительностью запечатлена Федором Достоевским в романе «Преступление и наказание». Герой этого произведения, одаренный, но нищий студент Раскольников, решается убить ничтожную и гнусную старуху-процентщицу, чтобы воспользоваться ее деньгами и помочь своей семье. Преступление совершается. Раскольникову удается скрыть его следы и он имеет все возможности воспользоваться плодами злодеяния. Но, в то самое мгновение, как только он переступил законы неприкосновенности личности человека, для него вдруг начинается совершенно новая, полная иррациональных откровений жизнь, которая не только заставляет его забыть о деньгах старухи, но и разрушает до конца все его прежние представления о мире и о человеке. Разрешая свою генеральную диалективу, Достоевский умышленно сталкивает в «Преступлении и наказании» две личности, находящиеся на полярно-противоположных точках нашего представления о человеке: с одной стороны — молодой, талантливый, полный кипучих сил Раскольников, способный принести обществу много благ; с другой низкая и корыстная старуха-ростовщица, присосавшаяся к этому обществу, как ненасытный клоп и живущая какими-то растительными темными инстинктами. Но даже эта низкая старуха все же человек, и, с точки зрения писателя-христианина, писателя-гуманиста, личность ее так же неприкосновенна, как и всякая другая личность.

«Все, что совершается в душе Раскольникова, иррационально, — пишет В. В. Розанов, — он до конца не знает, почему ему нельзя было убить процентщицу. И с ним вместе и мы не понимаем

*) Совершенно так же, как в наше время для авторитарных режимов все «классово-чуждые» или все лица «неарийского происхождения» и т. д.

**) В. Розанов. «Легенда о Великом Инквизиторе». Ф. М. Достоевского. Изд. М. В. Пирожкова. СПб. 1906. Стр. 51.

умом, диалектически, состояние его совести, качеств его поступка. Но целым существом своим мы совершенно ясно ощущаем необходимость всех последствий совершенного им факта. Едва разбил он отраженный Лик Божий, правда, обезображенный его носителем, — и он почувствовал, как для него самого померк этот Лик и с ним вся природа. «Не старушонку я убил, себя я убил», говорит он в одном месте... «Мистический узел его существа, который мы именуем условно «душою», точно соединен неощутимой связью с мистическим узлом другого существа, внешнюю форму которого он разбил... Здесь, в этом анализе преступности и разгадана глубочайшая тайна человеческой природы, раскрыт великий и священный закон о непреступаемости человеческого существа, его абсолютности.»*)

* * *

Учение об иррациональности природы человека и об абсолютной ценности его есть первая и наиболее существенная сторона гуманизма Достоевского. Но ею не исчерпывается вся глубина его. С вопросом о Боге и о человеке неразрывно связана для Достоевского тема свободы. В мировой литературе трудно указать художника, внимание которого было бы до такой степени приковано к этой проблеме, как мы это наблюдаем в отношении Федора Достоевского. Он был величайшим провозвестником свободы, и без правильного понимания этой стороны его мировоззрения невозможно полностью понять ни его учения о человеке, ни сущности его гуманизма.

Выступая на защиту иррационального и индивидуального начала в человеке, Достоевский страстно отрицает всякую попытку подавить и уничтожить это индивидуальное начало каким бы то ни было путем. Критика идеала социальных утопистов, в котором Достоевский видел наибольшую угрозу человеку и его свободе, начатая им, как выше сказано, еще в „Записках из подполья“, достигает апогея в следующем замечательном романе „Бесы“, вышедшем через два года после „Преступления и наказания“.

Основным исходным пунктом критики социально-утопических теорий служит для великого писателя положение о невозможности объединения людей ни на какой другой основе, кроме христианской. Достоевский был глубоко убежден, что все попытки устройства человеческого счастья на земле, без Бога, приведут только к замене одной формы социального неравенства другой или даже к прямой деспотии тиранического меньшинства над большинством, ибо все они включают в себя элементы принудительного единения людей во имя счастья и во имя будущей далекой цели, которая еще «не показалась ничему живому» и, быть может не покажется, о которой человечество может лишь мечтать или гадать. Коренной порок этих теорий представлялся Достоевскому в том, что они рассматривают человеческую личность лишь как средство к возве-

дению «хрустального дворца». Достоевский был глубоко убежден, что эти социальные теории есть ничто иное, как попытки устройства человеческого счастья ценой отрицания его неприкосновенности и свободы его личности.*)

Один из „идеологов“ мира подпольной революции, изображаемого Достоевским в „Бесах“, некто Шигалев, читает на собрании конспиративного кружка трактат о будущем социальном устройстве. Замечательны первые же слова его доклада:

„Я запутался в собственных данных, — говорит Шигалев, — и мое заключение в прямом противоречии с первоначальной идеей, из которой я выхожу. Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом. Прибавлю однакожь, что кроме моего разрешения общественной формулы не может быть никакого... Я предлагаю рай, земной рай, и другого на земле быть не может.“

В этом монологе Шигалева таится гениальная характеристика главного противоречия рационалистических и социально-утопических теорий: противоречия между средствами и целью, между их исходными позициями и теми результатами, к которым они раньше или позже с неизбежностью придут. Как Шигалев, ищущий царства социальной справедливости в теории, приходит к выводу, что это царство можно было бы осуществить, только отняв у девяти десятых человечества свободу, так и будущие практики его учения, прельщающие массы лозунгом „земного рая“, придут в конце-концов к аду неравенства и деспотизма.

„Господин Шигалев отчасти фанатик человеколюбия, — серьезно замечает один из героев „Бесов“, — но вспомните, что у Фурье, у Кабета в особенности и даже у самого Прудона есть множество самых деспотических и фантастических предпрещений вопроса“.

Прошло около десяти лет после написания „Бесов“, прежде чем Федор Достоевский в документальной эпопее „Братья Карамазовы“ дал свое предпрещение вопроса о свободе человека, вложив это в уста старца Зосимы и в неповторимую по силе мастерства „Легенду о Великом Инквизиторе“.

Как правильное понимание человека может быть достигнуто лишь через признание его божественной природы, так истинная свобода и истинное равенство возможны только во Христе, на пути мистическом. Одержимость идеей всеобщего соединения людей без Бога включает в себе страш-

*) В. Розанов. „Легенда о Великом Инквизиторе“ Ф. М. Достоевского. Стр. 52-53.

*) В знаменитой „Пушкинской речи“ Достоевского есть фраза, которая может служить прекрасным дополнением к этим мыслям великого гуманиста: „Представьте, что вы сами возводите здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им, наконец, мир и покой. И вот, представьте себе тоже, что для этого необходимо и неминуемо замучить всего только лишь одно человеческое существо... Согласитесь ли вы быть архитектором такого здания на этом условии? (Дневник писателя. т. XII, стр. 424).“

ную опасность истребления свободы человеческого духа, гибели человека вообще.

„Мыслят устроиться справедливо, — говорит старец Зосима, — но, отвергнув Христа, кончат тем, что зальют мир кровью, ибо кровь зовет кровь, а извлекий меч погибнет мечом. И если бы не обетование Христово, то так и истребили бы друг друга даже до последних двух человек на земле“.

Свобода Достоевского — иная свобода. Она вытекает из свободного признания той высшей Истины, которую принес людям Христос. Лишь тогда, когда на смену социальной ненависти придет социальная любовь, искание человеческой свободы вступит в новый фазис, свободный от тех страшных преступлений, жертвою которых служит ныне человек.

„Неужели сие мечта, чтобы под конец человек находил свои радости лишь в подвигах просвещения и милосердия, а не в радостях жестоких, как ныне? — заключает свое поучение „о братстве

всех людей“ старец Зосима... — Твердо верую, что нет, и что время близко. Смеются и спрашивают: когда же сие время наступит и похоже ли на то, что наступит? Я же мыслю, что мы со Христом это великое дело решим. И сколько же было людей на земле, в истории человеческой, которые даже за десять лет немислимы были и которые вдруг появились, когда приходил для них таинственный срок их, и проносились по всей земле? Так и у нас будет, и воссияет миру народ наш и скажут все люди: „камень, который отвергни зиждущие, стал главою угла“. А насмешников спросить бы самих: если у нас мечта, то когда же вы-то воздвигните здание свое и устроите справедливо лишь умом своим, без Христа? Если же и утверждают сами, что они-то, напротив, и идут к единению, то воистину веруют в сие лишь самые из них простодушные, так что удивиться даже можно сему простоудию. Воистину у них мечтательной фантазии более, чем у нас“.

„Я даже утверждаю и осмеливаюсь высказать, что любовь к человечеству вообще — есть, как и идея, одна из самых непостижимых идей для человеческого ума. Именно как идея. Ее может оправдать лишь одно чувство. Но чувство то возможно именно лишь при совместном убеждении в бессмертии души человеческой.“

(Ф. М. Достоевский,
«Дневник писателя», декабрь, 1876 г.)

*

„Кто истинный друг человечества, у кого хоть разбилось сердце по страданиям народа, тот поймет и извинит всю непроходимую наносную грязь, в которую погружен народ наш, и сумеет отыскать в этой грязи брильянты. Повторяю: судите русский народ не по тем мерзостям, которые он так часто делает, а по тем великим и святым вещам, по которым он и в самой мерзости своей постоянно воздыхает. А ведь не все же и в народе — мерзавцы, есть прямо святые, да еще какие: сами светят и всем нам путь освещают! Я как-то слепо убежден, что нет такого подлеца и мерзавца в русском народе, который бы не знал, что он подл и мерзок, тогда как у других бывает так, что делает мерзость, да еще сам себя за нее похваливает, в принцип свою мерзость возводит, утверждает, что в ней-то и заключается l'Ordre и свет цивилизации, и, несчастный, кончает тем, что верит тому искренно, слепо и даже честно. Нет, судите наш народ не по тому, что он есть, а по тому, чем желал бы

стать. А идеалы его сильны и святы, и они-то и спасли его в века мучений; они срослись с душой его искони и наградили ее навеки простодушием и честностью, искренностью и широким всеоткрытым умом, и все это в самом привлекательном, гармоническом соединении. А если при том и так много грязи, то русский человек и тоскует от нее всего более сам, и верит, что все это — лишь наносное и временное, наваждение дьявольское, что кончится тьма и что непременно воссияет когда-нибудь вечный свет.“

(Ф. М. Достоевский,
«Дневник писателя», декабрь 1876 г.)

*

„Когда общество перестанет жалеть слабых и угнетенных, тогда ему же самому станет плохо: оно очерствеет и засохнет, станет развратно и бесплодно...“

(Ф. М. Достоевский,
«Дневник писателя», февраль, 1876 г.)

*

„В судьбах настоящих и в судьбах будущих православного христианства, — в том заключена вся идея народа русского, в том его служение Христу и жажда подвига за Христа. Жажда эта истинная, великая и не переставаемая в народе нашем с древнейших времен, непрестанная, может быть, никогда, — и это чрезвычайно важный факт в характеристике народа нашего и государства нашего.“

(Ф. М. Достоевский,
«Дневник писателя», декабрь, 1876 г.)

Новая французская литература

Писатель и философ Жан Поль Сартр является в настоящее время значительной фигурой в литературной жизни Франции. Его статьи служат темой оживленных дискуссий. В предлагаемом очерке, взятом из второго выпуска „Нового Обозрения“ издательства Берман-Фишера, Стокгольм-Нью-Йорк, Сартр, под видом критики произведений новых авторов, набрасывает концепт духовных устремлений молодой Франции.

Не следует думать, что вся французская литература пришла в результате этих четырех лет борьбы, надежды и отчаяния, унижения и гордости, в полное смятение. Литература целого периода представляет собой сложное явление, в котором умирающие течения и традиции уживаются рядом с новыми опытами и оригинальными мыслями. Существовали определенные тенденции, которые придавали довоенной мысли особое выражение и которые временно или окончательно исчезли сейчас.

Известная изысканная наигранность, довольно поверхностная манера вовлечения людей в доверие автора — похожая на нашу благодушествующую литературу — исчезла вместе с Жироу на долгое время. Война рассеяла сверх-реалистов, и, хотя их влияние на поэзию все еще сильно, все же, по существу, в настоящее время во Франции нет сверх-реалистического движения. Андре Жид, долгое время отсутствовавший и почти совершенно замолчавший, потерял все свое влияние на молодых писателей: его философия, пригодная для счастливого периода перед второй мировой войной, не может помочь в эти времена нужды и несчастья.

Следует отметить и тот факт, что движения, блиставшие между 1920 и 1930 годами, потеряли свой размах, ослабели и не соответствуют больше духу времени. Это, главным образом, вопрос поколения: наши прославленные старые писатели были затронуты событиями лишь частично. Они могли отдать Движению Сопротивления свое время, свои деньги, свои руки, — но свой дух они могли ему лишь одолжить. Сейчас же после освобождения они вернулись к своему обычному и устаревшему образу мышления.

Война и наша неудача вызвали у многих писателей нового поколения предрасположение к уклону в сторону старой теории „искусства для искусства“, но омоложенной, ставшей серьезной и метафизически прикрытой. Страх, ужас и отчаяние вызвали в наименее затронутых душах предрасположение к абсолютному пессимизму и отчуждение от человеческих предприятий. Среди писателей, относящихся критически к современности, занимает видное место Жорж Батайль, которому сейчас приблизительно 40 лет и последнее произведение которого — „Внутренний опыт“ имело некоторый успех. Далее идет — Морис Бланшо, замечательный поэт и выдающийся литературный критик. Бланшо — большой поклонник Молламе — сравнивает свои стихотворения с теми „Атомами молчания“, о которых говорит Вальери, и стремится сделать в области романа то, что автор „Послеполуденного часа фавна“ сделал для поэзии. Бланшо написал два странных романа: „Фома Темный“ и „Аминадаб“, где развивается действие в каком-то воображаемом мире и где герои имеют лишь отдаленное сходство с обыкновенными смертными. Все происходящее в этих романах кажется символическим, но не является таковым на

самом деле. Скорее всего я сравнил бы эти таинственные и мрачные произведения с „Антигоной“, — последней пьесой нашего прославленного драматурга Жана Ануйль. Ануйль ставит нас перед дилеммой выбора между Креоном и Антигоной. Кто не хочет извлекать пользы из зла, подвергать человечество, путем обмана, насилия и лжи суровой дисциплине, как делает Креон, тому, как Антигоне, не остается ничего другого, как добровольно искать смерти. Ануйля обвиняли в том, что его симпатии на стороне Креона. Это не верно. Автор на стороне Антигоны.

Надо сознаться, что суровость нашего времени, социальные бедствия, ежедневное соприкосновение со злом создали во Франции литературу самоубийства. К счастью, эти произведения, в силу самого своего существа, не имеют потомства. Возникает вместо этого новая литература, несущая в себе все залогов будущего, хотя она и связана с нашими древнейшими традициями. Эта литература является следствием сопротивления движению и войны. Ее лучшим представителем является тридцатилетний Альберт Камюс. Для него, как и для большинства молодых писателей сегодняшнего дня, Движение Сопротивления сыграло известную воспитательную роль. Оно научило их тому, что свободу слова, как и свободу вообще, при известных обстоятельствах приходится защищать с оружием в руках и что, следовательно, литература не может быть независимой от политики, что она связана с действиями демократических учреждений. Чтобы иметь возможность творить, писатель должен быть свободным и обращаться к свободным же людям.

Выпуская, зачастую в очень опасной обстановке, большое количество тайных статей, цель которых — укрепить дух французского народа в борьбе с немцами или поддержать его мужество, они свыклись с мыслью, что „писать“ значит то же самое, что и „действовать“. Они не утверждали, что писатель не несет никакой ответственности, а, наоборот, требовали, чтобы он в любой момент был бы готов отвечать за то, что он написал. Ни одна строчка не могла быть напечатана в тайной прессе без того, чтобы она не угрожала опасностью для имени самого автора, печатника и людей, распространяющих эти издания Движения Сопротивления. Таким образом, печатное слово после инфляции междовоенного периода, когда слова были подобны бумажным деньгам, за которые никто не давал золота, приобрели свою прежнюю мощь.

Для Камюса, для Лариса, для Жана Кассу «говорить» — серьезная вещь, а «писать» — еще более серьезная. Эти молодые писатели, столкнувшись лицом к лицу со злом, нашли какие-то точки соприкосновения с творчеством Батайля и Бланшо, произведения которых проникнуты глубоким пессимизмом.

Ошеломление и возмущение, охватившие американцев при виде трупов замученных людей в Бухенвальде,

— нами пережито уже давно. В течение четырех лет молодежь, и даже дети Франции, узнали, на что способен человек. Четыре года бесславной и безнадёжной борьбы в стране, униженной поражением, научили их, что мир жесток и несправедлив, что на войне смерть случайна, но что в Движении Сопротивления она выбирает. Оставшиеся в живых знают, что смерть загубила цвет нации.

Потому-то книги Камюса полны такой глубокой мрачностью. В своих первых произведениях „Иностранец“ и „Миф о Сизифе“ он стремится показать, что мир „абсурден“ и что человек покинут в нем без помощи, без надежды, без Бога. Никакая справедливость, никакой ангел не присутствовали при смертных муках тех, кто были истязаемы во Фрэн или Урадуре и те, у кого боль вызвала признание, умерли в отчаянии, одолеваемые чувством стыда, незаслуженным им. Но, в отличие от Бланшо, пессимизм Камюса и его товарищей целебен и созидателен. Только тогда, когда человек потерял всякую надежду, он находит себя самого, ибо тогда он знает, что может положиться только на себя. Постоянное присутствие смерти, постоянная угроза пытки, заставили писателей типа Камюса измерить силы и пределы человека.

„Стал бы я говорить, если бы меня пытали?“ Для наших отцов и дедов подобный вопрос был бы совершенно отвлеченным — умственной игрой. Они умерли, не познав своих крайних возможностей. Для Камюса же и всех других это было вполне конкретным вопросом. Только перед лицом этой крайней перспективы, человеческая природа выражает себя совершенно. Таким образом, эти новые писатели заняты не столько психологическим и социальным человеком, сколько метафизическим. Они — настоящие романисты и поэты свободы, ибо, в конце-концов, большинство из подвергнутых пыткам не говорило ничего. Таким образом, и в самых крайних страданиях все же еще находится место для победы человеческого духа.

В этом смысле я рассматриваю писателя до-военного периода, который лучше всех приспособился к настоящему времени и который, без сомнения, вновь займет в наших глазах свое прежнее почетное место, в лице Андре Мальро, который за пять лет не опубликовал во Франции ни одной строчки, командовал группой макизоров (партизан) и сражался в Германии. Он дает нам изображение человека, который смотрел в глаза смерти и сопротивлялся пыткам до пределов своего мужества и своей свободы. Но в вопросах борьбы Мальро — романтик. Его добровольная служба была всегда немного бесцельной — можно даже сказать, что его привлекала только возможность бросить вызов смерти и злу, но что конечная цель ему была безразлична.

Камюсу свойственно некоторое смирение. Ему знакомы долгие периоды нервирующего, напрасного ожидания в Движении Сопротивления, все эти сто раз неудавшиеся и сто раз вновь начатые с самого начала попытки. Он научился терпению; он знает, что нельзя сразу достигнуть многого. И все же как раз эта безграничная отдача борьбе каждой отдельной личности утверждает его в мысли о господстве человеческого духа над „абсурдным“ миром.

Ничто не иллюстрирует лучше эту мысль, чем большой миф в готовящейся к выходу книге Камюса „Чума“. В Оране свирепствует чума, и алжирские власти решают совершенно изолировать город. В вымирающем городе, где скоро не будет ни одной живой души, остается лишь один врач. Он восстает против болезни, против смерти, против всего мира. Но это возмущение не теряется в излишних экзотических проклятиях небу, — оно выражается просто в уходе за больными. Он помогает больным без надежды, без помощи, без

лечебных средств — ибо все уже израсходовано. Но он не сдается и продолжает посещать их и лечить оставшимися у него средствами. И, продолжая просто, без каких-либо иллюзий, свою работу, он бросает вызов Злу и Вселенной, он подтверждает, вопреки всякой вероятности, господство человеческого духа. Вот эта вера в упорную, скромную и полезную действительность и отличает Камюса и его поколение от Мальро.

А так как творчество равносильно действию, то Камюс, вполне естественно, перешел от Движения Сопротивления к политической журналистике. Передовые статьи, которые он пишет в „Комба (бай)“ поддерживают те же теории: политика не должна быть реалистической. Реализм разрушает идею человечности, ибо он подчиняется материальному миру. В 1940 году, после поражения Франции, реальная политика означала сотрудничество с Германией. Но в то же время она означала и измену. Люди, защищавшие человеческую свободу, ту свободу, которая вопреки всякой надежде охраняет и оживляет верность договорам, — они подобны врачу, продолжающему свою работу в полумершем городе. Поэтому, настоящим государственным деятелем является тот, кто своей, лишенной всяких претензий, продуктивной деятельностью подтверждает господство человека.

Эта строгая, чистая серьезность проявляется в творчестве Камюса в виде крайне ясного стремления возвратиться к классицизму, в котором его особенно привлекают строгость и бережливость в средствах. Он чаёт создания умеренной литературы, вспышек. Ему хотелось бы, чтобы в его работах чувствовалась всегда проверяющая, предвидящая, упорядочивающая свобода человека. Его пьеса „Недоразумение“, поставленная в прошлом году в театре Матюрен, написана в стиле трагедий XVII века, хотя и не в стихах. Три единства соблюдены, немногочисленные персонажи изображены в состоянии кризиса: язык строгий и красивый, диалог выдержан. Таким образом, эти новые произведения, рожденные катастрофой и небывалым до сих пор положением, повидимому, открывают вновь путь к великой трагедии.

И это действительно возврат к классицизму. После первой мировой войны мы видели, по словам Тибодэ, феномен освобождения. Это анархическое прекращение напряжения, этот непосредственный взрыв свободы подарили Франции цвет послевоенного периода: Жироду, сверх-реалистов и Кокто. Но послевоенная эпоха 1945 года не будет сопровождаться таким ослаблением напряженности. Франция истощена на долгое время; лет двадцать, а то и тридцать она будет занята тяжелой неблагоприятной задачей восстановления своих разрушенных заводов.

Именно эта литература, наполненная решимостью и сознанием своих задач, принеся очевидно обет бедности, наиболее соответствует такому серому, решительному и нетребовательному послевоенному начинанию. Поколение, блиставшее в междувоенный период, будет вынуждено отойти на второй план. Произведения, порожденные полным отчаянием, о которых я говорил, и представляющие собой вполне понятный и потому заслуживающий извинения отзвук тяжелой нужды нашего времени, едва ли будут иметь потомство. Но весьма вероятно, что в мрачных, чистых творениях Камюса обрисовываются уже основные черты будущей французской литературы. Это обещает нам в будущем классическую литературу без иллюзий, но полную доверия к величию человечества, жесткую, но без излишней горячности, страстную, но в то же время сдержанную, пытающуюся обрисовать метафизическое состояние человека и вместе с тем активно участвующую во всех общественных движениях.

В. И. Суриков, как художник — историк

В марте нынешнего года исполнилось 30 лет со времени кончины величайшего русского исторического живописца, Василия Ивановича Сурикова. В ознаменование этой годовщины мы посвящаем его творчеству наш очерк.

О жизни Сурикова рассказывать почти нечего. Он происходил из сибирских казаков, родился в Красноярске в 1848 году. В 1874 году он окончил петербургскую Академию художеств, после чего поселился в Москве, где и жил до самой своей смерти, от времени до времени совершая поездки в родную Сибирь или за границу с целью посещения музеев живописи. По характеру своему Суриков был замкнут, суров и прост, перед сильными мира сего — независим, одно время своей жизни — фанатически религиозен. Таков же был его образ жизни. Вся его жизнь была сосредоточена в художественном творчестве. Над каждым своим произведением он работал годами. Пять больших монументальных картин могут быть названы его шедеврами: это — „Утро стрелецкой казни“ (1881), „Меньшиков в Березове“ (1883), „Боярыня Морозова“ (1887), „Покорение Сибири Ермаком“ (1895) и „Переход Суворова через Альпы“ (1899). Эти картины, в особенности первые три, и послужат основой для характеристики его творчества.

I

Скажем сперва несколько слов об исторической живописи вообще.

Большинство художников-историков понимают область, дающую им сюжеты и образы, как некую противоположность окружающей их живой действительности. Для них задача художественного постижения истории сводится к умению как можно более верно и точно воссоздать старину, воскресить когда-то бывшие живыми, но ныне мертвые лица, события и предметы. При таком понимании, как раз на различии прошлого от настоящего, основывается интерес картины с историческим сюжетом и строится психологический расчет художника в целях подчинения себе воображения зрителя и воздействия на его впечатлительность. Такая картина показывает зрителю нечто им еще невиданное, необычайное, даже „дикийнное“, начиная с костюмов и утвари, и кончая действующими лицами и ситуациями. Множество таких картин отвечает антикварному интересу более или менее узкого круга любителей истории.

Впрочем, и на почве такого понимания задачи исторической живописи нередко создавались замечательные произведения, особенно в тех случаях, когда сюжетами их становились великие события прошлого, много говорящие патристическому чувству. Таковы произведения Мейсонье, Менцеля, Матейки, Верещагина, чтобы назвать только наиболее известных. Различие художественной ценности этих произведений и им подобных огромно, но в смысле понимания задачи исторической живописи все они одинаково принадлежат к охарактеризованной выше категории.

Но есть и другое, гораздо более глубокое понимание задачи историка, и его то мы находим в творчестве Сурикова.

Согласно такому пониманию, эпизоды прошлого, правда, представляют нечто единственное в своем роде и неповторимое, но это не значит, что прошлое и настоящее различны между собою. Различие их лишь в нашем соотношении с тем и другим и в способах нашего восприятия того и другого, но для человеческого познания оба одинаково представляют собою

материал фактов, в котором мы открываем некую непреходящую сущность человеческого духа и человеческой жизни. Постигнуть эту сущность и выразить ее в научных положениях и художественных образах — такова задача историка, будь он ученый или художник. Каким-то бессознательным чутьем Суриков стал на почву такого понимания задачи историка и потому, как исторический живописец, он представляет единичное явление не только в русском искусстве, но и в искусстве мировом.

Темою произведений Сурикова является прошлое русского народа, но моменты и эпизоды прошлого выбраны им не ради их внешней эффектности, их интересного антикварного аппарата, но потому, что они выражают собою самую сущность исторического развития русского народа и его духовных переживаний. В этом отношении замечательны первые картины Сурикова, особенно „Утро стрелецкой казни“ и „Боярыня Морозова“. Их общая тема — это борьба национального быта, психологии и самосознания русского народа, т. е. его самобытной культуры, с идущим сверху, организующим, принудительным государственным началом. В художественных образах Суриков выразил трагедию исторической жизни русского народа, разыгрывающуюся с тех пор, как над великой народной стихией воздвиглось государство российское. Эта трагедия есть столкновение двух начал, народного и государственного, стихийного и организующего, столкновение, в котором во имя целей и предначертаний, часто непонятных, чуждых и даже ненавистных народу, государство разрушает его быт, ломает его волю, гасит веру, душит мысль. В самом деле, в какой другой истории увидим мы государство и народ в этом постоянном разладе и вражде го скрытой, то прорывающейся наружу? Сюжеты Сурикова — не просто эпизоды прошлого, воскрешенные фантазией художника, они — символы, запечатлевающие трагедию русского народа, тяготеющий над ним рок. Здесь именно лежит источник того потрясающего впечатления, которое производят картины Сурикова. „Боярыня Морозова“ символизирует насилие над народной верой, „Утро стрелецкой казни“ символизирует торжество чуждых иноземных форм над национальным русским бытом, наконец, „Меньшиков“ — это образ поправной личности русского человека, жертвы жестокого произвола.

II

Замечательно, что к своему глубочайшему постижению русской истории Суриков пришел бессознательно, только путем художественной интуиции. В самом деле, Суриков считал себя чистым живописцем, мастером рисунка и краски. Его беседы были всегда посвящены чистому, т. е. бессюжетному искусству, задачам живописи, красочной гамме. В этих случаях имя Тинторетто не сходило с его уст, и в заграничных поездках он особенно изучал этого мастера композиции и краски. Об идеях, тенденциях в живописи Суриков не говорил никогда. Никогда не говорил он тоже об истории, тем более об ее научных проблемах, хотя он и интересовался ее фактическим материалом, черпал его в мемуарах и в „Историческом Вестнике“. Не проявил он особенного интереса и к так называемым историческим „реалиям“, т. е. предметам минувшего быта: утвари, оружию и костюмам. Недаром, когда разговор заходил об истории, он любил повторять слова: „Хороша старина, да Бог с ней“. Поэтому-то в своих исторических картинах Суриков весьма мало обращал внимания на верность и точность этих „реа-

лий", а иногда и умышленно искажал их. Так, в „Боярыне Морозовой“ узор парчи на одежде не XVII-го, а конца XVIII века, казаки Ермака вооружены кремневыми ружьями, вошедшими в употребление столетием позднее, лицо Меншикова списано не с подлинного его портрета, но с какого-то провинциального учителя, ибо его черты и выражение казались Сурикову более соответствующими искомому образу сыльного вельможи. Наконец, поза Морозовой в саях исторически прямо неверна, и тут Суриков сознательно отступил от документальности изображения, ибо оно помешало бы ему выразить сущность происходящей на картине драмы. Здесь им руководил эстетический такт, а также чутье психолога и историка. Для историка важны были не внешние аксессуары события в их документальной точности, но сущность исторического момента: конфликт национальной религиозности с попыткой навязать ей чуждые рациональные формы. Вдохновенный жест истинного знаменателя креста, горящая верой глаза Морозовой, сосредоточенная и замершая в общем чувстве толпа покидаемых друзей, лукавые и злорадные маски никониан — сущность изображаемой драмы здесь, а не в антикварных аксессуарах, якобы передающих „эпоху“. Повторяем, Суриков постигал идею русской истории интуитивно, он никогда не формулировал ее словами и не объяснял выборы исторического сюжета для своих картин. Напротив, по его собственным словам, зародыш каждой из них заключался в каком-либо зрительном впечатлении и вытекающей из него живописной проблеме. Так, живописный образ стрелецкой казни возник из эффекта отражения горящей свечи на белой рубашке, а сидящая на снегу черная ворона с оттопыренным крылом дала толчок живописному образу боярыни Морозовой.

III

Характеризуя художественное дарование Сурикова, важно отметить еще одну его черту, которая в огромной степени содействует впечатлению, производимому его картинами.

Все они имеют своей темой драму, выраженную почти всегда в действии, и участники этой драмы находятся в движении. Однако, живопись, как вид искусства, статична, в отличие от поэзии и музыки, она не располагает временем, как средством выражения, и живописцу из всего процесса движения, т.е. развертывания драмы, дано зафиксировать только один момент. Какой же момент выбрать, чтобы в нем одном выразить весь смысл происходящего, чтобы всю драму отразить на плоскости одного мгновения?

Драматическое действие вызывает в зрителе волнение самым процессом нарастания: близится какой-то страшный конец, и ожиданием его полно „Утро стрелецкой казни“. Это ожидание страшнее самого конца.

Зрелище заключительного момента драмы, т.е. самой казни, правда, вызвало бы у нас чувство ужаса, зато художественное впечатление было бы ослаблено чисто физическим отвращением при виде крови и мертвых тел. Чем натуральнее было бы это изображение, тем сильнее было бы вызываемое им отвращение и тем слабее стало бы искомое впечатление психологической драмы. Его заглушила бы атмосфера мертвецкой или застенка. Таков именно эффект картины Репина: „Убиение Грозного сына“. Здесь восприятие психологической и исторической драмы целиком подавляется в зрителе чисто физическим отвращением при виде крови и потухающего взора умирающего. В этой картине как раз необычайное мастерство изображения всей сцены, „как живой“ разрушает ее основную цель.

Картина Репина — антихудожественна, и не даром какой-то нервный субъект бросился на нее и изрезал ее ножом.

Совсем иное у Сурикова. Он берет хронологически предпоследний, но внутренне самый важный момент драмы, когда приведенные к месту казни стрельцы среди рыданий близких обмениваются последним взглядом со своим победителем — царем. В картине казни художник устраивает все свидетельства физических мук и самой смерти. Только по беспомощным позам стре-

льцов зритель узнает о перенесенной ими уже раньше пытке. Все выражение — в их дико горящих глазах, говорящих о душевной муке. И потому зритель сосредоточивается не на физическом акте казни и смерти, но на духовной сущности момента, на конфликте двух начал и двух сил, воплощенных в страдающей группе жертв на первом плане и фигуре торжествующего победителя позади. Чтобы этой цели подчинить художественную композицию, нужны были верное чутье и такт. Виселицы отодвинуты далеко вглубь и даже не сразу заметны. А ведь как легко было поддаться соблазну усилить эффект, придвинув их ближе и даже введя в композицию тела первых повешенных!*)

IV

Несомненно, картины Сурикова по самому своему духу революционны, хотя и не в узко политическом смысле этого слова: они с необычайной силой выражают борьбу народного духа против идущего сверху угнетения. Историческое прозрение и художественное чутье Сурикова объясняют нам, почему свои сюжеты он взял из эпохи раскола и петровских реформ, и почему, вопреки советам многих своих почитателей, он уклонился от изображения казацко-крестьянских бунтов или борьбы позднейших революционеров. Ведь эти темы попросту не соответствовали тонкой художественной разборчивости Сурикова, не вызывали в нем тех эстетических образов, которые он искал и умел находить с таким верным чутьем и тактом. Действительно, какие эпизоды этих движений пришлось бы ему брать? Кровавые сцены мести крестьян или жестокой расправы с ними их усмирителей? Виселицы с телами господ или виселицы с телами бунтовщиков? Но ведь таких то сцен, как мы видели, как раз и избегал Суриков. Также и сущность русской истории не усматривал он в классовом движении, напротив он любил повторять слова Пушкина: „что может быть ужаснее, чем русский бунт, бессмысленный и беспощадный?“**)

В русской истории Суриков искал универсального, всенародного. Потому-то он не брал своих сюжетов из времен удельной, еще только складывавшейся Руси, а остановился на XVII веке, когда наш народ уже вырос в нацию и возникло государство в современном смысле, когда впервые в полных драматизма событиях выявился конфликт этих начал, государственного и народного, конфликт, породивший на всем протяжении нашего духовного и общественного развития столько тяжелых, мучительных переживаний. Для раскрытия этой неизменной сущности нашей истории Суриков остановился именно на XVII веке потому, что тогда по быту своему и духовному содержанию народ был един, между тем как со времени раскола и петровской реформы и бытие его, и сознание потекли по многим отдельным руслам, как и само общество разделилось на части, между которыми загладила глубокая пропасть. И едва ли какое-либо событие послепетровского периода могло бы выразить универсальность народных переживаний так, как она выражена в „Боярыне Морозовой“, где толпа представляет собою подлинный народ, где нищий, простоло-

*) Такой совет, по словам самого Сурикова, подал ему Репин. Суриков попробовал было написать повешенного стрельца, но тотчас же стер его. „Натуралист“ Репин проявил здесь то же отсутствие художественного такта, которое уже отмечено нами выше в его „Убиении Грозного сына“.

**) Последняя историческая картина Сурикова „Стенька Разин“ (около 1908 г.), ее судьба, думается нам, подтверждают наш взгляд. Взяв темою знаменитого своей жестокостью бунтовщика, Суриков изобразил его в спокойной позе раздумья. Художник сам чувствовал, что его произведение вышло неудачным и пытался его исправить, чего он никогда не делал со своими картинами раньше. Однако, если по содержанию своему эта картина совершенно не идет в сравнение с предшествующими, то живописные ее достоинства, по мнению художников, огромны.

дин и боярин стоят в одной группе и сплочены общим, единым чувством.

Впрочем, Суриков принес дань своего творчества и простой народной массе, возвеличив ее могучую силу, изобразив ее в действии, а не в страдании. Это — его картины „Ермак“ и „Суворов“. Также и в них Суриков выявил нечто органически присущее русской народной стихии — широкий размах духа, порыв на вольный простор, к сказочным подвигам, испытывать силу богатырскую. „Покорение Сибири“ символизирует стихийное движение народа-колонизатора, которое удаляю передовых отрядов открыло ему для его устроения 6-ю часть земного шара. „Переход через Альпы“ запечатлевает беспрецедентный подвиг русской армии, и центром этой картины является не театральная фигура полководца, а простая солдатская масса, преодолевающая невиданное ею чудовищное препятствие — Альпы.

V

Нам остается указать еще одну характерную черту творчества Сурикова — вскрытие им в художественных образах сущности религиозного сознания русского народа.

Мы видели, что три главные его картины, „Стрельцы“, „Морозова“ и „Меньшиков“, выражающие трагедию русской истории, дают образы страдания духа и личности русского человека. Но исчерпывается ли только этим фактом все содержание картин, весь их нравственный смысл? Значит ли это, что по мысли художника самое важное и существенное в нашей истории есть нечто жалкое, способное вызвать только чувство сострадания? В самом деле, протест стрельцов сломлен, ревнители веры гонимы, личность русского человека, в лице Меньшикова, попрана. И все же образы Сурикова показывают, что и терпя внешнее поражение, народный дух спасает в себе главное, и что его поражение есть в сущности победа. Чтобы убедиться в этом и вместе подвести итоги его творчества, еще раз бросим взгляд на его картины.

В первой же из них фигура стрельца налево, обращенная лицом к Петру, с одной стороны, и фигура самого царя, с другой, представляют как бы крайние полюсы двух борющихся начал. Но перед гордым орлиным взором умирающего меркнет пагетическая фигура самодержца. Морозова высоко и свободно поднимает скованную цепью руку и, расставаясь со своими, завещает им стойкость в вере до последнего конца. Чем же побеждают эти побежденные? Вот тут-то и раскрывается вся глубина постижения Суриковым русской религиозной психологии.

Один современный Сурикову критик*) сетовал на отсутствие в этой толпе „мужественных, твердых характеров“ и хотел бы, чтобы „блеснуло у кого-нибудь чувство злости, мести, отчаяния“. Трудно проявить большее непонимание религиозного смысла суриковских картин, того, что он вскрыл и запечатлел в глубинах русской народной религиозности. Где же искать твердых и мужественных характеров, как не здесь? Правда, духовная их сила выражается по-своему: никто из этих людей не охвачен злобой, местью или отчаянием, никто не бросается освобождать узницу, но, благославляя ее на подвиг, никто не отказывается

нести свой крест. И не в тупой покорности застыла эта толпа. Угодников власти и ханжей художник ясной чертой отделил от верных и твердых. В своих образах Суриков дал разгадку сущности народной борьбы за свои духовные идеалы, и разгадка эта кроется в религиозном мирозерпании русского народа. Если не признать выраженную Суриковым в образах формулу, то в нашем народе мы увидим только массу рабов, готовых подчиниться любому произволу. Эта формула гласит: когда борьба идет из-за духовных ценностей, когда насилие совершается над убеждением и совестью человека, то это насилие нельзя победить; нельзя даже отвечать на него таким же насилием.

Верность убеждению можно запечатлеть только готовностью до конца нести за него страдание, надо и голову склонить и смирить свою гордыню, но не перед мирским, не перед победителем-человеком, а перед высшей правдой, которая стоит над обеими борющимися сторонами. В ней-то и лежит то примирение, тот синтез, которого нет и не может быть в запутанном лабиринте общественной борьбы, где с обеих сторон сталкиваются человеческие эгоизмы, где обе стороны одинаково неправы. Так именно Меньшиков находит в Св. Писании убежище от собственной гордыни, примирение двух полюсов своего бытия — величия и ничтожества, — наконец, утешение в своем страдании. Нам вспоминаются слова знаменитого расколоучителя, протопопа Аввакума, который, расставаясь с тиранившим его сибирским воеводой, говорит: „Не знаю, кто кого больше мучил, он ли меня или я его“. Здесь выражено чисто русское религиозное сознание, что в этом мире вполне правых нет, как нет в нем и вполне виноватых.

И потому-то Суриков не брал темой своих картин моментов бунта и кровавой мести. Вдохновение, одушевленность большим и высоким чувством, — вот, что возвеличивает он в своих картинах, а ведь русский народ, оставаясь себе верным, даже когда он бунтует и мстит, не вдохновляется ни бунтом, ни местью, и, в конце концов, не верит в способность грешного человека создать царство правды на земле. Зато он верит в очищающую силу страдания, в обязанность каждого искупать свой и общий грех. Это русское религиозное сознание Суриков с изумительным проникновением показал нам в своих образах. И потому-то не случайно, что так или иначе во всех его картинах играют роль символы религии. Даже в казни стрельцов погребальные свечи как бы говорят о панихиде за упокой мятежных душ. Суворовский солдат идет на подвиг, осеняя себя крестным знамением. Казаки Ермака сомкнулись вокруг хоругви с ликом Спасителя, как вокруг своей твердыни. Нужно ли говорить, что религиозные переживания, экстаз веры и утешение в вере представляют все содержание «Боярыни Морозовой» и «Меньшикова»?

Русские искусствоведы ставят Сурикова в один ряд с лучшими нашими колористами; все же среди них он не является ни первым, ни новатором. Его значение лежит в содержании его картин и в их художественном выражении. Повторяем, здесь он представляет явление исключительное, единственное не только в нашем искусстве, но и мировом. Ибо он открыл глубокую и важную черту русской истории, можно сказать, ее сущность. Он сделал это интуитивно и самостоятельно, как не сделал до него ни один ученый историк, всю жизнь свою проводивший над источниками и документами.

*) Знаменитый В. В. Сласов в разборе „Боярыни Морозовой“.

От редакции: Статья проф. Д. С. „Суриков, как художник-историк“ еще до своего напечатания вызвала горячие споры в среде сотрудников нашего журнала. Мы приветствуем ее, как толчок к дальнейшему обмену мнениями по затрагиваемым в ней вопросам понимания русской истории, русского языка и русского религиозного сознания. Первой представительницей другого мнения служит печатаемая в этом № заметка Р. Воробьева. В следующем № появятся и другие статьи по тому же кругу вопросов.

ПО ПОВОДУ СТАТЬИ ПРОФ. Д. С. „В. И. СУРИКОВ, КАК ХУДОЖНИК-ИСТОРИК“

Читая статью проф. Д. С., глубоко и верно раскрывающую руководящую идею творчества В. И. Сурикова, как то особенно остро чувствуешь расстояние, отделяющее нас от него. Тридцать лет со времени смерти художника (1916 г.), шестьдесят со времени написания „Боярыни Морозовой“ (1887 г.) — и большая идея об истории стала сама историей.

Для нас сегодня суриковское мировосприятие (и автор статьи, думается, напрасно не оговаривает этого) есть характерное восприятие второй половины XIX века. Теряющая последние творческие связи с поздним самодержавием, интеллигенция этого времени ищет сближения с народом, от которого упорно, наперекор очевидности, не хочет признать себя отчужденной.

Основная тема творчества Сурикова — „борьба национального быта, психологии и самосознания русского народа, т. е. его самобытной культуры, с идущим сверху, организующим, принудительным государственным началом“, воспринятая им, как „трагедия исторической жизни русского народа с тех пор, как над великой народной стихией воздвиглось государство российское“ (стр. 2), — это основная тема второй половины XIX века.

Наше сегодняшнее понимание русской истории, особенно после работ академика Платонова и его школы, давно не совпадает с пониманием Сурикова и его времени. Это новое понимание легко могло бы послужить темой отдельной статьи и, несомненно, привлекло бы к себе интерес читающей публики, тем более, что в силу искусственного застоя российской мысли за последние десятилетия, живы еще в умах многих, хоть скорее в форме навязанного предразсудка, чем продуманного убеждения, давно изжившие себя воззрения.

Восприятие Суриковым русского религиозного сознания также, по меньшей мере, спорно. Нет сомнения, что русское боговосприятие есть православное бого-

восприятие. Православие же есть, прежде всего, вера в существование Бога живаго, Который есть абсолютная Правда, а основанный на этой вере дух Православия, при всей его терпимости и смирении, может быть правильно понят только как дух единой, объективной и несомненной Божьей правды.

Перед лицом этой Правды, в запутанном лабиринте общественной борьбы, где действуют не только человеческие эгоизмы, но и, что гораздо важнее, человеческие убежденность, верность и жертвенность, обе стороны никогда не могут быть ни в равной степени правы, ни в равной степени неправы (сравните стр. 6).

Высокая Божья правда, Правда с большой буквы, будет всегда, пусть искаженная в нашем несовершенном и грешном восприятии, на той стороне, которая в Нее верит и которая, пусть даже заблуждаясь и сближаясь, искренне стремится служить Ей. Ибо Правда эта не есть уму непостижимая замиренная, надчеловеческая правда, перед которой все одинаково неправы, нет, это Правда, постепенно раскрывающаяся в Ветхом и завершенная в богочеловеческом Новом Завете, Правда божественная, но и человеческая, оплаченная человеческой мукой Иисуса Христа и потому доступная человекам.

Любя эту Правду, уже не в плане критики суриковских картин, но и в нашем сегодняшнем российском плане должны мы сетовать, вместе со Стасовым, об отсутствии „мужественных, твердых характеров“. Не мало, но недостаточно их у нас, хоть и нужны они нам сейчас больше, чем любому другому народу. Нужны потому, что именно религиозное сознание наше требует от нас „стоять за Правду“, стоять мужественно и твердо, как стоял, да, чтобы остаться среди образов статьи проф. Д. С., и один из мужественнейших характеров нашей истории, мучитель своих мучителей протопоп Аввакум, до конца верный собственному призыву: „боримтесь, братья!“

Р. В о р о б ь е в.

Библиография

НОВАЯ ПЕЧАТЬ

В наши дни возрождается свободное русское слово, задущенное в годы войны нацистскими завоевателями. В странах, освобожденных англо-американцами, начинают выходить новые газеты, книги, журналы, литературные сборники. Не все они еще нам известны, но по дошедшим до нас отдельным экземплярам новых изданий уже можно судить в общих чертах об их облике и направлении.

„ВСТРЕЧА“ (Сборник объединения русских писателей во Франции). Перед нами первый и второй сборники. Оба они имеют пока небольшой тираж — всего 400 и 450 экземпляров. Это, конечно, не много. Но важно то, что положено начало. Сборники, главным образом, литературно-художественные, так сказать, аполитичные. Авторы — не новички в литературе, многие из них давно известны широкому кругу эмигрантских читателей. В произведениях подавляющего большинства авторов чувствуется грусть, усталость, какая-то печальная сосредоточенность. Перо, впрочем, отражает тяготы многих лет изгнания, усугубленного пятилетним вынужденным молчанием. Что касается тематики, то

здесь следует сразу же подчеркнуть неблагоприятное влияние длительного отрыва от Родины — творчество писателей посвящено эмигрантской жизни, переплетенной с судьбой Франции в годы второй мировой войны. В этом плане написан рассказ П. Ставрова „Арман Леклер“, в основе которого — приключения некогда жившего в России француза, бегущего от немцев из Парижа в июне 1940 года; примерно в таком же духе написан и рассказ А. Гефтера — «Кило сахара»; во втором сборнике П. Ставров снова возвращается к той же теме и рассказывает об эмигранте, уходящем пешком из Парижа все в те же трагические дни июля 1940 г. Все эти очерки и рассказы написаны добротно, читаются легко и с интересом.

Привлекает к себе внимание короткий отрывок „Посещение“ из книги Б. Зайцева „Дни“. Писатель остался верен темам православия. „Посещение“ — одно из лучших произведений, помещенных в журнале.

Отрывки из романа Леонида Зурова это — единственные повествования, связывающие нас пером писателя с давно покинутой, горячо любимой Родиной. Вместе с писателем невольно вновь переживаешь муки революционной России, холод Ладоги, ветер Балтики, мятежные дни октября 1917 года.

В сборниках много стихов. Лучшие из них принадлежат С. Маковскому, культурному и умному поэту.

С очень странной статьей выступил во втором сборнике философ Н. Бердяев. Автор, высказав общеизвестные положения о неуловимости «творческого акта» и его независимости, пытается в неясных и путаных фразах оправдать пресловутый «социальный заказ». Бердяев говорит, что и Эсхил в известном смысле исполнял «социальный заказ афинского государства», но, видите ли, творчество его прекрасно. Казалось бы, эту мысль следовало логически развить и продолжить. Но этого у Бердяева мы не нашли. В заключительной части статьи он выражает неизвестно на чем основанный оптимизм, говоря: «Мир вступает в социалистическую и коммунистическую эпоху, но это не значит (подчеркнуто нами, Б. С.), что ему должна быть свойственна ложная метафизика коллективизма, отрицающего личный и свободный характер творчества».

Как это хорошо! Какие же к тому имеются доказательства? Как легко сказать — «не должна!»

Разве таким оптимизмом можно удержать динамику «ложной метафизики»?

Предоставляем читателю задуматься над такой трактовкой свободы творчества. Со своей же стороны можем сказать, что едва уловимая, читаемая разве между строк, гстененность и некоторая пугливость авторов первого сборника начинает объясняться статьей Н. Бердяева, помещенной во втором сборнике.

«СВОБОДНЫЙ ГОЛОС» (Сборн. 1. Фев. 1946. Париж)

В противоположность «Встрече», «Свободный голос» — сборник исключительно политический. Его направление, конечно, не по вкусу другим парижским органам — «Советскому патриоту» и «Русским новостям», возникшим на пепелище милюковских «Последних Новостей».

«Свободный голос» выходит под редакцией журналиста Вл. Лазаревского. В числе сотрудников — известные деятели эмигрантской общественности: С. Мельгунов, А. Карташев, князь С. Трубецкой.

«ВСХОДЫ» №1-3. (Лагерь бесподданных «Колорадо»).

«Всходы», кажется, единственный журнал, выходящий на русском языке в британской зоне оккупированной Германии. «Всходы», перешедшие с 3-го номера на двухнедельное издание, представляют собой литературный журнал. К сожалению, в нем, видимо, мало собственных писательских сил; поэтому значительное место в журнале занято перепечатками произведений известных русских писателей, находящихся за рубежом. В №2 (февральском) помещена оригинальная статья Н. Л-ина, посвященная Ф. М. Достоевскому, в связи с исполнившимся 11 февраля с. г. 65-летием со дня его кончины. Н. Л-ин останавливается на прозорливости гениального писателя, его обращенности к человеку, его своеобразном гуманизме. Автор напоминает, что Достоевский выступал «страстным защитником человеческой свободы против принудительной «гармонии», основанной на уничтожении индивидуального начала в человеке».

«НАШИ ДНИ» №1 (Фюссен. Издание объединения русских писателей и журналистов). «Наши дни» — журнал преимущественно литературный. Проза представлена рассказом «Петька» Евгения Лызлова, «Страна добрых» Н. Горчакова, «Человек, который видел чорта» — Н. Рыбинского и «У подножия» — С. Савинова. С. Савинов — вдумчивый, скупой в средствах писатель. Короткими и сочными штрихами рисует он жизнь людей у подножия Альп на протяжении веков — от эпохи римских легионеров до апрельского дня 1745 г., когда был подписан мир между Австрией и Баварией. Рассказы Е. Лызлова, Н. Рыбинского страдают нарочитостью и некоторой неряшливостью, особенно рассказ «Петька» Е. Лызлова, совершенно не отделанный и, видимо, написанный наспех. Несколько добросовестнее сделан рассказ «Страна добрых» Н. Горчакова. О стихах Е. Лызлова и Анны Савиновой можно сказать, что в них много искренности, но технически они далеки от совершенства. Лучшим из них является «Новогоднее» Е. Лызлова.

«НА ПЕРЕЛОМЕ» №1. (Издание клуба молодежи в лагере Мюнхен-Фрайман). Журнал, изданный на ротаторе, еще, видимо, не располагает достаточным числом сотрудников, что не помешало, однако, редакции предоставить читателю разнообразные и интересные материалы — политические обзоры, новости науки и техники, статьи на культурные темы, страничку «На досуге».

«ЖУРНАЛ РАДИО-СООБЩЕНИЙ» (Издается в Мюнхене-Фрайман). В этом журнале ряд статей посвящен правовым проблемам бесподданных бытия. Увы... многое «пока это мечты», как правильно названа статья Е. Каликина, трактующая о возможности дальнейшего устройства судьбы бесподданных.

«БЮЛЛЕТЕНЬ КОМИТЕТА БЕСПОДДАННЫХ» (Гамбург). Наряду с освещением жизни бесподданных, бюллетень помещает статьи и заметки информационного характера.

МОЛОДЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА. Появился целый ряд журналов, предназначенных для молодежи. В этом отношении ведущую роль взяли на себя скаутские организации, повсюду издающие, пусть не всегда удачные, но полные молодого задора и душевной бодрости, тоненькие тетрадки, напечатанные на ротаторе.

Среди них, пожалуй, первое место принадлежит издающемуся в Менхегофе журналу «РАЗВЕДЧИК». Шесть номеров «Разведчика», вышедших в конце 1945 г. и в начале 1946 г., позволяют судить о его непрерывном росте и развитии. В художественном отношении, по разнообразию материалов, последние номера особенно удачны. Интересна и занимательна повесть Б. Башилова «К неведомым берегам». К сожалению, автор обращает очень мало внимания на отделку, и в стилистическом отношении повесть неряшлива. «Разведчик» дает молодежи полезные знания, воспитывает ее в духе верности и любви к Родине.

Выходящий в том же лагере Менхегоф журнал «МОЛОДЕЖЬ ГОВОРИТ», связанный со скаутской организацией, создан для молодежи самой молодежью. В нем мало, конечно, подлинно литературного умения, но из него брызжет силой молодости, верой и дерзанием.

«МОЛОДЕЖЬ» (Выходит в Фюссене). Об этом журнале судить труднее, так как в нашем распоряжении имеется всего один номер. В целом журнал близок и по духу, и по целям другим начинаниям молодежи.

Вероятно, наш обзор не охватывает всех русских изданий, появившихся в Европе после войны. Но все издания, которые мы просмотрели, свидетельствуют о неукротимой деятельности творческих сил русского зарубежья, о духовном голоде и о том упорном и достойном всяческой похвалы труде, который затрачен на эти издания в суровых условиях нашей действительности.

Б. Серафимов.

М. О. Кубе «Морские рассказы»

(Издательство «ПОСЕВ», 1946 г.)

Тоненькая книжечка. Всего четыре рассказа. Но выход в свет этой новой книги М. О. Кубе дает нам повод сказать не только об этих четырех рассказах, но вообще о творчестве писателя, издавшего в разных частях света несколько книг и далеко еще не оцененном по-настоящему критикой.

И. С. Тургенев в статье «По поводу отцов и детей», оповещая читателей о намерении отказаться от литературной деятельности, писал: «Кладу перо. Еще один последний совет молодым литераторам и одна последняя просьба... Просьба моя состоит в следующем: берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками...»

Вот это тургеневское, бережное, благоговейное отношение к языку прежде всего бросается в глаза при знакомстве с произведениями М. О. Кубе. Автор с честью пронес прекрасный русский язык через многие годы эмиграции, не растерял его, не засорил его, не забыл его... Не многим из писателей-эмигрантов уда-

лось это. А язык писателя это — все; сколько бы ни теснилось в голове блестящих идей, но если писатель не владеет в достаточном совершенстве языком, то его произведения будут «вялые, смутные, бессильно-пространные», как выражается тот же И. С. Тургенев. Язык М. О. Кубе сочный, выразительный и, главное, простой, чуждый формалистическим экзерсисам, ставшими, к сожалению, весьма распространенными в нашей литературе. Пожалуй, автора можно даже упрекнуть в некоторой излишней осторожности в обращении с языком, приводящей иногда к неточным эпитетам и несколько робкому построению образов.

В основу почти всех рассказов М. О. Кубе положена глубокая жизненная правда, та правда, от которой иногда делается страшно, а чаще — радостно и светло от сознания того, как много таится хорошего, чистого и сильного в нашем народе. Но писатель не замкнул только в своем народе, он отдает ему должное, но не становится на слащаво-национальную позицию. Он гораздо шире, он — гуманист, у которого слово «человек» если не пишется, то подразумевается с большой буквы. И все «мелые, честные, справедливые движения души человека, кто бы он ни был, восхищают писателя (француз Дюкен из рассказа «Враги» — сборник «Морские рассказы», англичанка-девушка и старик из рассказа «За други своя» — сборник «С полуночи случаи»). И, наоборот, все низменные про-

явления, не достойные Человека, вызывают у автора самое бурное возмущение.

Во всех рассказах действие развивается на море и объединены они одной темой — жизнью моряков. Автор любит, знает и умеет короткими и сочными штрихами нарисовать море. Но морской пейзаж не является у него только фоном, на котором разыгрывается действие, нет, море — органическая часть произведения, прочно и крепко компанующаяся с характерами героев и событиями.

Есть еще одна особенность у этого писателя, которую нельзя никак обойти при оценке его творчества. М. О. Кубе — мастер сюжета, мастер композиции. Есть два писателя в мировой литературе, давшие нам блестящие образцы композиции в коротких рассказах; это — Мопассан и Чехов. Нет сомнения что эти два писателя оказали какое-то влияние на творчество М. О. Кубе; может быть, совершенно интуитивно, бессознательно он постиг архитектонику их произведений. В рассказах М. О. Кубе читатель никогда не может предугадать конечной развязки сюжета, она всегда для читателя неожиданна, а иногда — ошеломляющая. Поэтому его вещи читаются со все возрастающим интересом и, как правило, оставляют глубокое впечатление у читателя.

Пройдет время, и М. О. Кубе займет подобающее ему место среди талантливых русских писателей.

С. Максимов

ИЗ МИРА ИСКУССТВА И НАУКИ Литературы.

Вышел новый роман известного английского писателя В. Сомерсета Могама «Тогда и теперь», главным действующим лицом которого является молодой Макиавелли. Книга входит в число сочинений, избранных в июне Литературной Гильдией.

В настоящее время Могам работает над новым произведением, которое почти закончено и выйдет в 1949 году. Он уверен, что это произведение, заглавие которого еще не установлено, будет его последним романом. С 1897 года, автор, которому исполнилось 72 года, написал 21 роман, 24 пьесы, 90 новелл, шесть томов очерков и свою автобиографию.

В издательстве Лимес появился чужой роман «Это было в Берлине» С. И. Арбатова, произведения которого не печатались с 1933 г. Книга охватывает времена Кайзера, республики и третьего рейха.

В Нюрнбергском издательстве Иакоб Мендельсон вышла из печати книга «Документы», являющаяся собранием интересных документов времен наци.

Советский драматург Шаповаленко написал новую пьесу «На горных вершинах», посвящен-

ную знаменитому русскому путешественнику по Азии — Пржевальскому.

Виктор Шкловский написал пьесу, посвященную великому русскому химику Менделееву. Среди действующих лиц — композитор Бородин, художник Илья Репин, поэт Александр Блок и несколько химиков.

В Америке принята к постановке «Первая жена» — драма американской писательницы Пирль Бук, получившей Нобелевскую премию. В этой драме она рисует конфликт между старой и новой культурой Китая. Все роли будут исполнены китайцами на английском языке.

Комсомольский театр в Москве ставит «Лесную песнь» украинской писательницы Леси Украинки. Декорации построены главным образом на световых эффектах.

Новый драматический театр, созданный в Баманском участке Москвы, открыл свой первый сезон пьесой М. Казакова и А. Мариенгофа «Круг».

